

## ПРЕЛЮДИЯ. ВСЕ РАВНО

Чем больше я живу, тем яснее вижу: земля пульсирует кровью, как человечесье тело.

Если она долго живет без войны или революции, то сама себе делает кровопускание, будто эта грубо, щедро льющаяся кровь может ее очистить от грязи. Выливаясь из ее черного разрубленного тела, омыть все, что гниет и смердит.

Но это иллюзия. Так мы говорим, чтобы себя утешить.

В смерти нет ничего высокого. Она ждет всех, и меня тоже. Говорят: революция прекрасна, она вдыхает в народ новые силы! И он бежит к яркому свету будущего!

...На свет полыхающего страшного зарева бежит он, народ.

...Моя бабушка, Наталья Павловна Еремина, была пятой дочерью моих прабабки и прадеда, а всего детей родилось одиннадцать. Я ловила, как котенок, клубок из ее корзины, у ее толстых мощных ног, когда она вязала. Или шила на старой ножной швейной машинке. Нога бабушки ритмично двигалась, ткань ползла из-под руки.

...Сейчас думаю: это ползло, падало на пол время.

Баба Наташа держала в зубах нитки, иголки. Когда вязала – и спицы, как собака палку. Я смеялась. Она вынимала спицу изо рта, беззубо и морщинисто улыбалась мне и говорила. Рассказ будто не прерывался. Я вздыхала и слушала. Вертела в пальцах перламутровую пуговицу от старого бабушкиного сарафана.

Бабушка рассказывала о прадеде Павле, а потом еще об одном человеке, его друге.

Звучало это примерно так, не берусь воссоздать все точнехонько:

– Твой прадедушка Павел нам этот дом построил. Верней, перестроил, из ветхого старья. Плотник был отменный. Топор танцевал в его руках. А уж настрадался он в жизни! Где только ни мучили его. В особом лагере на Новой Земле отсидел пятнадцать лет. До этого – Соловки. До Соловков – Уссурийск. До Уссурийска – поселение, Минусинская котловина. Там у него и женщина была! Мать знала, сильно плакала. А до Минусинска...

Баба Наташа опять зажимала в губах спицу. Метал тонко блестел, я торопила рассказ: а дальше?

– До Минусинска... Был Омск... А до Омска – Екатеринбург, теперь Свердловск... Там он горячего хлебнул... А до Свердловска – Тобольск... А в Тобольск отец прямо с войны попал, из окопов... А на войну – из Нового нашего Буяна взяли...

Я отматывала вместе с бабушкой клубок времени назад. Разматывала время.

...Только сейчас размотала – а ветер уже разметал ключья шерсти, порванные нити.

И вот наступило странное и важное время – связать все эти гнилые, истлевшие, летающие по серому ветру нити. Нечто важное, верное рассказать. Для кого важное? Для меня самой? Или для тех, кто будет это читать и думать над этим?

Время – ветер, оно выдувает непрошенные мысли. Люди привыкают не думать в тишине, а только работать, делать. Им кажется – важные дела. Или отдыхать, наслаждаться.

Почему «хлебнул горячего» в Свердловске? Почему у этого города два имени? Горячее – это страшное, я догадалась тогда.

Много позже я узнала, уже со слов моей матери: прадед Павел Ефимыч, красноармеец, служил в отряде, который сторожил последнюю царскую семью в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.

Уже нет того дома: сломал товарищ Ельцин. Или господин Ельцин, как угодно. Наш первый президент. Я с замиранием сердца спрашивала маму: а правда, прадедушка Павел расстрелял царя? Мать прижимала палец к губам. Так же, как бабушка, она всегда шила на ручной швейной машинке «Подольская», черной, чугунной, с золотой вязью по гладким женским бокам. И все так же ползла из-под руки, со стола на пол, разнообразная ткань.

Палец, прижатый к губам, говорил без слов: говорить нельзя. Запрещено.

Мама, глазной врач, рано надела очки. Сапожник без сапог. Толстые стекла непомерно увеличивали глаза. Мы, девчонки, таких лупоглазых цариц рисовали чернилами на школьных промокашках. Она стала портнихой по наследству, домашней, только для семьи. Шить она умела все – от пальто и шубы до детской распашонки. Все семейство обшивала. Ночами.

Однажды ночью я услышала, как она плачет. Осторожно ступая босыми ногами, вышла в большую комнату – мама называла ее «зала». Большими красивыми руками мать вцепилась в чугунную плаху «Подольской», лоб лежал на руках, она всхлипывала. Толстые очки валялись на полу. Я подошла и погладила ее по плечу. Подняла очки.

«Мама, что ты плачешь?» – спросила я тогда робко. Я не умела утешать, стеснялась. Меня ласкали и любили, а я не умела ласкать. Боялась. Мать утерла лицо ладонями. Потом погладила мне шершавой, будто наждачной ладонью заспанное лицо.

«Деда вспомнила. Как он нас всех, сестер, любил. Меня звал Нинусик. Томочку – Тамочка. Валю – Валеночек. А ты знаешь, доченька, ведь он царскую семью расстрелял. И на всю жизнь это запомнил. А все равно его

по лагерям затаскали. Не помиловали. Хотя видишь, ради советской власти он невинных людей убил».

Как это невинных, думала я смятенно, ведь проклятые цари мучили народ, стреляли в него, издевались над ним! Надо было обязательно их убить!

Нас так учили в школе. Я не знала другой правды, да и не было ее.

Я стояла, слушала мать, водила пальцем по золотым вензелям на черном чугунном боку швейной машинки. Машинка напоминала мне черную тяжелую корову. А на корову кто-то накинул попону с золотыми, царскими узорами.

«А когда его увозили на подводе из Буяна на поселение – он так всех нас обнимал! И плакал, и кричал: я еще вернусь, вернусь!»

Мать крепко вытерла лицо падающей на пол материей. Потом она начала, среди ночи, шепотом рассказывать мне про молодого прадеда Павла. «Остались снимки... Там он такой красивый... И деток красивых нарждал от Насти, да и она была хороша, полька... А про царей он нам рассказывал, сажал нас на колени и губы мне к уху прижимал, губами щекотал... Говорил: «Цари были такие тихие. Смирные... Дочери – хорошенькие». Особенно ему нравилась Мария... Он все их имена помнил, а мы путали... А потом обнимал нас и плакал. Мы его спрашиваем: «Ты что, деда, плачешь?» Тогда он смеялся через силу и кивал: правильно, солдаты не плачут!»

Солдаты. Так я и представляла прадеда Павла – то плотника с топором в руках, то солдата с винтовкой за спиной.

Он стоит, винтовка за плечом, закуривает махорку, а его окружают солдаты, друзья, толпятся.

...Потом все эти солдаты стали приходиться ко мне во сне.

Именно солдаты, а не цари, хотя правильной было бы, если бы девочке, по девичьему чину, снилась царская семья, гордая царица и царевны в кружевных платьях. И бородатый важный царь.

Я потом увидела в книгах фотографии царя в военной форме; он тоже был солдат. Для меня тогда не было разницы между офице-

ром и солдатом. Все они в гимнастерках, и у всех суровые военные лица. Брови хмурятся. Только одни солдаты делают революцию, а другие на них нападают, чтобы красную, прекрасную революцию убить.

А потом те и другие объединяются и однажды защищают нашу Родину от страшного чужого врага.

Когда Гитлер напал на Советский Союз, прадед Павел отбывал срок в особом тайном лагере на Новой Земле. Сейчас есть мнение, что никаких таких лагерей на Новой Земле не было: ни на острове Вайгач, ни на острове Колгуев. И что все это сочинения досухих репрессированных, желающих, чтобы как можно больше было в прошлом секретного дикого страдания. Однако мой прадед Павел там, в новоземельском лагере, доподлинно сидел.

Всю войну с фашистом они просидели там, на мертвом Севере, где белые льды и красные жуткие закаты. Где медленно колыхается, варится серое ледяное олово моря. Они шли для Советской Армии тулупы и валяли валенки. Валеночки...

И убили Павла Ефимыча, прадеда моего, при попытке побега. Бежал вместе с другом. Сухарей тайком насушили, хранили под старой лодкой. Этому самому другу бежать удалось, а Павла подстрелили. Часовой с вышки стрелял метко. Друг снял у Павла с груди темный, позеленелый крест. На себя надел. С двумя крестами шел. Добрался до Волги, до Костромы. На барже плыл, милости ради. Донес до Самары. Отдал дочке, Наталье Павловне.

Я смутно вспоминала бормотанье бабушки: «Сидел на кухне... Столы газетами прикрыли... Как раз пост, пирожки с картошкой матушка испекла... Крест у меня на ладони лежал, я его слезами обливала... А этот человек, царствие ему небесное, до нас добрался, как хорошо, последнюю весточку принес...»

И хорошо, ясно помнила я: на шее у бабы Наташи, на груди, чуть ниже яремной ямки, тяжелый медный крест, слишком тяжелый и большой, неженский. Такие нательные кресты носили служилые и торговые люди, сол-

даты, крестьяне. Мужики. Я залезала к бабушке на колени и трогала этот крест пальцем. Он не холодил палец, а странно обжигал.

Сейчас думаю: вот он носил крест, Павел Ефимыч. В Бога верил. Тогда все верили. Нельзя было иначе. И все же поднял руку на царей. На своих царей.

...Нет, не поднял... Не стрелял...

...сейчас уж не встанет из могилы и не расскажет, как оно все было.

...Да тогда они уже не своими были, царито. Они уже были чужаками в поменявшей одежду стране.

Новое платье России сшили, красное.

Стрекотала швейная машинка.

Текла красная ткань из-под грубых родных рук.

Кровь родная, люди родные, а цари чужие. Немцы. Немчура. Чужие. Немые. Иные.

Представляла, как прадед Павел стоит, солдат, с ружьем наперевес, и ружейный ствол на царя наставляет. Может, это он и убил последнего царя?

Честь убить царя пытались присвоить многие. Цареубийца, это же навсегда в истории! Называют разные фамилии. Разные люди пишут на эту тему мемуары. Так до сих пор никто и не знает, кто это сделал.

Когда начинается революция или война, нет правых и виноватых. У каждого своя правда, и он борется за нее.

Бабушка рассказывала не только о чело- веке, донесшем до семьи Павла Еремина его нательный крест; а еще об одном друге. С ним Павел Ефимыч вместе служил в красном отряде в Екатеринбурге.

Этот друг был не только прадеда друг. Но и бабы Наташи друг, так я понимала.

Потому что она так ласково и в то же время сердито называла его, будто обзывала: «Мишка Лямин». Скажет: «А, Мишка Лямин...» – и рукой махнет, будто муху отгоняет.

То ли презрительно, а то ли озорно.

Будто самого этого загадочного Мишку, смеясь, по руке бьет.

Значит, знала она его, этого Мишку.

В ящике старинного письменного стола красного дерева у бабушки, среди разных фотографий, лежала и такая: два солдата стоят перед камерой, глядят в объектив осовело. Слишком долго, видно, держал двух мужчин нерасторопный фотограф перед волшебной коробкой: никак не мог зажечь магний. Я рылась в ящике, когда бабушка уходила в молочный магазин за кефиром, молоком и творогом, доставала из ящика пожелтый снимок. Кто слева, кто справа? Прадеда Павла я уже узнавала: он и правда был красив. Степной и дикой красотой. Брови вразлет, фуражка надвинута на лоб, узкие калмыцкие глаза. Рядом пялился в камеру другой солдат. Ростом выше Павла Ефимыча. Длинный и нескладный. Шинель мала, чуть выше колен. Не шинель, а казачий тулуп. На башке будёновка. Глаза таращит. В отодвинутой вбок руке сжимает винтовку, крепко упирая ее прикладом в дощатый пол.

Я глядела на снимок и со сладким страхом думала: а, может, это он убил?

«Мишка Лямин, – тихо говорила бабушка, разложив на столе кефир и творог, и белые, будто мраморные, яйца, и мясной горячий пирог в промасленной бумаге, глядя из-под очков на желтый, коричневый, как в печке запеченный, снимок в моих руках, – Мишка, рыжий, бесстыжий, он наш, буянский, он же ко мне сватался. А я ему отказала. Ох и рыжий! Аж красный был! Вот какой рыжий! Идет по Буяну – как фонарь горит! Издалека видно! И после гражданской войны тоже приезжал в Буян. Тоже свататься хотел. Мне сказали. Да я уже вышла за деда твоего, Степана. А Мишка до нашей избы так и не дошел. Застеснялся. Ну что ж... Судьба такая».

А что с ним потом стало, с этим Мишкой, спрашивала я.

«До генерала дослужился», – с тяжелым длинным, как жизнь, вздохом отвечала бабушка.

...Детей интересует смерть. Может, потому, что они о ней ничего не знают, зато верно и глуже ее чувствуют. Им не надо говорить, что все мы умрем. Им на эту тему снятся сны. Иногда снится, как их убивают; во сне

они бегут, убегают, а за ними топот ног, их настигают и стреляют в них. И дети вскидывают руки и падают животом на забор. Или на кирпичную стену. Или на колючую проволоку. Или просто на землю.

У меня такой сон был. Он приходил ко мне несколько раз. Адская боль, когда в тело входит пуля. Я ощущала, как из меня льется горячее, льется кровь. Руки хватались за забор – я пыталась, уже умирая, через него перелезть. Перелезть из смерти в жизнь. Я делала над собой страшное усилие и просыпалась. Кровь, громыхая, толкалась в уши, разрывая барабанные перепонки. Меня убили, думала я дико и быстро, но вот же я проснулась, и все это понарошку.

Кровь толкалась в сердце, в губы, в глаза. Я неистово радовалась, что я жива. Я живу, и это такое счастье! Неужели я когда-то умру? Или меня убьют, как во сне?

Или убьют не во сне?

Я запомнила, как зовут того солдата, с желтого снимка. Быть может, это он меня во сне убивал. А может, кто другой. Это уже неважно.

Когда бабушка Наталья умерла, все ее вещи достались дочерям, Валентине и Тамаре. Нина, моя мать, не получила из ереминского дома ничего: ни вещицы, ни иконки, ни фотографии, ни вышитой бабушкиными руками подушки. Хотя очень просила: «Отдайте мне корзинку с последним вязаньем и спицами».

...Бабушка сидит. Вяжет. Во рту держит две спицы с янтарными шишечками-наконечниками. На столе наперсток, серебряный, с такой же янтарной головкой в дырках. Ножная финская машинка укрыта холстиной. «Ты знаешь, Леночка, они, отец и Мишка, очень дружили. Переписывались. Отец вернулся с Урала в Новый Буян – ему то и дело от Мишки почту приносили. А отец не умел особо писать, хотя грамотный был. Однако Мишке отвечал. Карандашом царапал. В Буяне Павел Ефимыч стал церковным старостой. Маслобойку завел... Мельничошку... А потом письма перестали приходить. Нас раскулачили... Мельничошку отняли,

маслобойку покалечили... Сломали... Все сломали, все».

...Все сломали, все. Но мы же наш, мы же новый мир построили!

Построили, а потом опять разрушили.

А потом опять построили.

А потом...

И так всегда.

Значит, нет выхода из круга?

Я жила и не думала об этом друге. О солдате этом. Рыжем и бесстыжем. А в последние годы вдруг стала думать и думать о нем. И видеть его. Почему-то его, а не прадеда Павла, ярче, четче.

Что такое смерть? Это когда забывают до конца. Напрочь. А жизнь, наверное, это то, когда тебя видят и помнят.

У нас сейчас многие молодые хотят революции. Мы озираемся по сторонам, смотрим на те земли, где революции эти произошли, и хорошо видим: да, опять кровь, разруха и смерть. Ничего, кроме смерти. Но смерть проходит, и приходит жизнь. Только она уже совсем другая.

И из смерти, из войны или революции надо выкарабкиваться страшно долго.

Страшно и долго.

Сколько усилий для того, чтобы построить новое!

А что такое новое? Может быть, это опять время?

А оно старым или новым не бывает. Оно всегда одно.

Его шьют и режут. Прострачивают очередями. Шивают петлями виселиц. Ставят на нем огненные заплаты. А оно такое текучее, скользкое. Льется и ускользает.

Недавно мне приснилось, что в меня опять стреляют. Но я не убегаю. Я стою ровно и тихо. И смотрю убийце прямо в лицо.

Я хорошо знаю его.

Помню по желтой фотографии.

Вот здесь у него морщинка под глазом. Вот здесь, возле уха, родинка.

Он мне как брат. Родной.

...И он не опускает винтовку. Он стреляет все равно.

## ИПАТЬЕВСКИЙ ДОМ

...Опять ночь, и опять не спать. Раньше они привыкли к дисциплине. Когда их арестовали и сослали, дисциплина рухнула: ее расстреляли, а потом сожгли.

Царица в ночной сорочке расчесывала волосы и все пытала царя: «Знаешь ли ты что-нибудь об этом страшном человеке?» – «О ком, моя прелесть?» – «О Ленине».

И царь вздыхал. Ему не хотелось беседовать об этом на сон грядущий, но жена спрашивала, и он не мог ей отказать. «Я мало знаю о нем. Но то, что знаю, и правда страшно. Он впустил германцев на Украину. Украинины с нами больше нет. Там командуют австрияки. Он залил русскую землю кровью, ты же видишь, текут реки крови, и я, царь, уже не в силах это остановить. Я подслушиваю

речи красной охраны. Я слышу ужасное. Он пытается в подвалах и расстреливает невинных людей. Многие уезжают. Боже, Боже мой, Ники, почему же мы, мы не уехали?!»

Царица клала изящную английскую расческу на край табурета. Вместо туалетного столика – кривоногий табурет. Вместо ковров – грязные ситцевые тряпки, чтобы закрыть по стенам дождевые потеки и кровавые следы раздавленных клопов.

Кто пустил его во власть? Никто. Откуда он появился? Никто не знает. Вроде бы, милая, он жил за границей. И, кажется, люди говорили, что когда-то, давно, мой отец повесил его старшего брата. За то, что он был террорист. И покушался на жизнь моего папа.

«Какой негодяй!» – шептала царица и приглавивала ладонями седые волосы, какая дрянь! Вдруг прижимала руку ко рту – так она делала всегда, когда слишком волновалась. «А ты не думаешь, милый, что он арестовал тебя, нас всех, потому, что хочет нам всем – за брата – отомстить?»

«О, нет, наверное, нет. Он, видимо, просто сумасшедший. Умалишенный. Русь, милая, всегда славилась юродивыми. Они ходили по площадям, городам и деревням, побирались, нищенствовали и пророчили. Да! Пророчили! Но ведь не убивали же никого! Да, юродивые Христа ради никогда не убивали никого. А этот – страшен. Он просто с виду здоров. Он пишет и произносит речи, отдает приказы, объявляет мобилизацию, вот из отбросов, из ненавидящих нашу жизнь Красную Армию создал. А на самом деле он – страшный больной. Он болен. Он, милая, тяжело болен. Он требует хорошего лечения, но его не излечишь. Он упивается своей болезнью, он обожествляет ее. Это я чувствую. Все, что не ложится под его красные идеи, должно быть уничтожено, раздавлено, застрелено, сожжено. И приспешники его такие же. Но, видно, он умеет красно говорить, он зажигает толпу. Народ идет за ним, как за Крысоловом из Гаммельна. О! Милый! Крысолов из Гаммельна! Моя любимая сказка в детстве. Но я так боялась, так боялась этого Крысолова! И вот... мы до него и дожили...

Ты видишь, видишь, какие он бросает лозунги в толпу? Когда в Тобольске мне еще доставляли газеты пачками, я все, все читал. Смысл всех его речей и воззваний был один. Какой же, солнце? Не молчи! Говори! Когда ты говоришь, мне легче!

И царь быстро, смущенно, торопливо, боясь причинить боль, но, опасаясь и утаить правду, говорил, и царица жадно ловила эти тихие, гладкие бусины катящихся по кровати, по полу слов, таких с виду обычных, а на деле – их люди произносят один, два раза в жизни, а может, и никогда: знаешь, Sunny, он освобождает людей от страха убийства. Ну да, да, так просто, он развязывает всем руки, он развязывает совесть, он думает так, и вслух говорит так: «Убивайте, убивайте, убивай-

те, сжигайте, стреляйте, насилуйте, грабьте, режьте, рубите, топчите ногами – все можно, все в вашей власти, нет страха, все – ваше, Бога – нет!» И, милая моя, толпа... толпа слушает его, и загорается, и орет, и рычит, и хочет – всего... Всего того, чего у нее нет... И не было... Солдаты говорят: «У него такие глубокие, такие печальные, думающие, такие бездонные глаза. Глаза – без дна». Он пишет свои декреты и морщит лоб, и прикрывает эти глаза без дна тяжелыми веками. Я читал эти декреты, солнце. Это декреты умалишенного. Это караули безумца. Все отнято у буржуев и поделено. Отобрать и поделить! Он не раз повторял это в своих речах. Красные в восторге от этого. Они наизусть учат эти декреты! А там!.. Там... Там все наше имущество отнято у нас и роздано всем, самым последним нищим, там буржуи в поте лица работают на заводах и фабриках, и станки отрезают им руки и раздавливают ноги, там у крестьянина земли не то чтобы надел, а вся страна. Вся! У каждого! А женщины там, darling, женщины... Ты не поверишь... Но не затыкай уши... Поделены между всеми мужчинами... Нет жен и мужей... А женщины – всеобщие жены, они принадлежат всем...

Царица сидела, слушая, с прижатой ко рту ладонью» «Но ведь милый! Милый! Он ненавидит Россию! Как же надо ненавидеть Россию, чтобы вот это все делать с ней!»

Царь, в солдатском исподнем, лег на кровать и подложил руки под затылок. Он сначала сморщился всем лицом, будто хотел заплакать и не мог, потом все морщины разгладились, брови расправились и полетели по лицу балтийской, забытой чайкой.

Ненавидеть? Россию? Он едва не смеялся. Еще немного, и смех разорвет его рот, его щеки. Жена прижала ладоши к щекам и застыла, глядя на него ледяными, зимними глазами: «Милый, что с тобой? Тебе плохо? Тебе... Может, воды принесу?» – «Да». – «Нет. Да, ненавидеть! А разве Россию можно любить? Ну вот скажи, разве можно? Россия свергла нас с трона, унизила, растоптала, мотает по кошевам, пароходам и поездам по Сибири. Россия, милая, может, Ленина давно ждала! Ждала и заждалась! И дожда-



лась! Ей Ленина надо было! Не меня! Не отца! Не моего несчастного деда с кровавыми культями вместо ног! Не царей, нет! Ей, солнце мое, надобны жестокость и кровь, и она всегда, всегда такая была, наша Россия, а я, дурак, не знал... Не понимал, не признавал... И теперь... Только теперь...»

По спокойному, странно светлому, чистому лицу катились спокойные, медленные слезы. Руки так же были закинута за голову. Ворот исподней рубашки отогнулся. На волосатой, уже седой груди блестел медный нательный крест. Жена встала перед кроватью на колени и поцеловала поцелуями эту родную грудь, руки, припала к меди простого, как у мужика, крестика. Ладонями отерла с его лица слезы. Это родное, до морщины знакомое, жестоко, на глазах стареющее лицо было сейчас так чисто, светло и ясно, как никогда; будто никакая грязь, никакой ужас, кровь и безумие его никогда, даже краем, не касались.

\* \* \*

Они все вооружены. Все до единого с оружием.

Хорошо Авдеев их вооружил.

Не царей убивать, конечно; они ж не изверги. Это если на них кто-нибудь извне полезет.

А ведь полезут, вот ей-богу, святой истинный крест... Тьфу ты, опять это богово, какое ж прилипучее, – честное слово, полезут. Неужели они, отправляя на волю письма, ни в едином не обмолвились о своем спасении?

«Их спасение – наша смерть. Все проще простого. А потому, Мишка, смотри в оба и другим присоветуй. Ночью-то не спи».

Он не спал, если ночью Авдеев ставил его на охрану; пучил глаза во тьму, а весенняя тьма была светлая, голубиная. Пасхальные дни всегда такие. Небо нежней голубиной грудки. Поймай голубку и расцелуй ее в клювик! Она Господу привет понесет.

«Вот заладили: Бога нет, Бога нет. А ну как Он есть?»

На лестнице сегодня стоят латыши, а еще молодняк, злоказовские. Со Злоказовского завода. Это Авдеев их пригнал: его рабочие

дружики. Лица какие славные у них. Горят верой. Человек должен во что-то верить! Отняли Бога – веруй в революцию. Отняли царя – верь в Ленина, он не подведет. Он за всех болеет, одним пустым чаем у себя там в Кремле питается. Не спит. Склонен над картой. Глядит на страну опухшими от бессонья глазами. Карта вся горит под его руками. Там и сям кострища, огни. Строчат пулеметы. Рвутся бомбы. Один город Ленин красным карандашом обведет. Другой обведет. Стрелки рисует: вот так движутся войска. Они там, в Европах; и эти, бывшие, контрреволюционеры, с ног сбились, на языке мозоли вспухли: убеждают друг друга и весь мир, что большевики – чума, холера, гибель, язва египетская. Ну, будет вам язва!

«Мы наш, мы новый мир... Построим...»

– Эхэй, Микаил! Запарка, тшай, эст?

Михаил стоял на первом этаже, около лестницы. Со второго этажа, с последней ступеньки, через перила свешивался австрияк Фридрих Зеeman.

– Фриц, спать тянет, да?

– Та, та! Йа! Тафай запарка!

Лямин полез в карман и вытащил пакет с заваркой. Пашка отсыпала ему на кухню, сама бумагу уголочками завернула.

Кинул пакет вверх. Австрияк поймал.

– Держи.

– О, данке, данке, топарисч!

Латыши, австрияки. Интернационал. Латыши молчаливые, словечка не изронят. Так и стоят на карауле с мраморными мордами. Мраморные белобрысые львы. Лямин сколько перевидал этих каменных львов у домов богатеев: в Самаре, в Саратове, в Тобольске. Символ власти! «Все, теперь львы – мы».

Еле добьешься от латышей, кого как зовут. Да у всех имена немислимые, похожи на немечки: Генрих, Ингерд, Готфрид, Интарс. Да и поклещь – башку не обернут. Медленный народ. Зато стреляют хорошо. И лица, когда палят, такие же мраморные, твердые, невозмутимые.

И говорят только по-своему. Это беда: не поймешь, о чем. Может, мятеж хотят поднять?

Австрияки тоже лопочут по-немецки, но бойские, оживленные, у них шило в задку торчит; стараются с нашими солдатами заговорить, отношения завязать. Хотя сегодня ты тут – охрана, а завтра – в войсках Красной Армии, на фронтах, а послезавтра у тебя нет и быть не может. Вот и вся дружба.

А тянется, тянется человек к человеку.

Злоказовцы – другие. Эти – своя братва. Кричат, матерятся, а то и сцепятся – из-за махорки, из-за горбушки. И порой ножи в ход пускали. Да только комендант с ножами разобрался быстро: одного – к забору и шлепнул, другого – домой, к мамке, отправил. Вон из революции. Парень пятился, выходя из ворот, плакал, размазывал слезы и сопли по щекам, с ужасом глядел на застреленного товарища. К порезанной руке портянку прижимал.

Злоказовцы несут вахту вокруг Дома. Это потяжелей, чем в Доме. На улице холодно, особенно ночами, да и опасней: кто угодно может прокрасться к забору и выстрелить, и бомбу кинуть.

Лямина никогда еще не ставили на внешнюю охрану. Он был «внутренний». «Домашний пес», – шутил про себя.

Слишком много солдат. Все не вмещались в комнаты первого этажа. Авдеев расселил их в соседнем доме; раньше здесь жило семейство Попова. «Ты куда?» – «В дом Попова, на ночевку». – «А петух там у вас есть?» – «Зачем петух?» – «Чтоб будить». – «А я думал, чтоб сварить!»

Фриц покостылял на кухню – заварить себе чаю. Лямин, понизив голос, крикнул ему в сутулую спину:

– Эй, и на меня завари!

Австрияк обернулся, и Лямин пальцами потер в воздухе, показал, что завари, значит, сложил пальцы в щепоть и вроде как чаю в стакан насыпал.

– Йа!

«Орем мы. Ее... Разбудим».

Пашка спала в кладовой. И запиралась изнутри.

Он как-то ее спросил: «Тебе там не душно? Не задохнешься часом?» А она засмеялась: «У меня воздуха в легких впрок запасено, я

рыба глубоководная». И показала ему язык. Такой озорной, обидной, она раньше нравилась ему. Теперь у него осталось одно: боязнь, страх за нее. «А на чем же ты спишь?» – «Книги штабелями сложила и сплю».

Он видел, что она врет, но как докажешь?

За окном захрипел мотор. Что в авто ночью делает Люханов?

«Черт, может, проверяет. Может, Авдеев куда-то кого-то везти приказал. Но не царей. Все спят. Никто за ними не идет, будить их».

...Как она... Спит? Этого он не видит. Нет, видит. Но не глазами.

...Она спит так: голову повернула на подушке, лежит на спине, одна рука вздернута и повернута ладонью вверх, другая лежит на одеяле. Она хочет повернуться и не может. Ей снится сон. И ему снится сон. Ей и ему снится один и тот же сон.

...В этом сне: губы ощущали теплую кожу, колкие кружева, тепло, а вот жар, а вот еще жарче, это слишком пылающе, так нельзя долго. Можно не выдержать.

...– Эхэй! Михаил! Йа приносить тшай!

Он стяхнул морок. Принял из рук австрияка горячий стакан. Обжег ладони и сам своею детскому ожогу засмеялся.

– Спасибо, Фриц. Ты друг.

– Трук, трук, йа!

Фриц все время мерз и ходил даже в теплые дни в накинутах на плечи шинели.

«Сколько мы на фронтах таких вот австрияков побиили, немцев, венгров – не счесть. А нынче они наши друзья. Трук, трук. Мировая революция это, вот это что!»

Лямин поставил стакан с коричневым горячим чаем на пол, на плашку недавно крашенной половицы.

Мировая революция представилась ему в виде страшной и прекрасной, громадного роста бабы, с полной голой грудью, с широченными, в три обхвата, бедрами. Она стояла, уперев одну ногу в один город, другую – в другой; ее рыжие огненные космы бешено и весело развевались в ночи, и она волосами своими освещала непроглядную ночь – поля, леса, города с заводскими трубами, снега в лощинах, железнодорожные пути, старые тракты. Стояла над землей, глядела сверху



на людские города и что-то задирное, путеводное кричала. И от ее яростного крика города загорались, полыхали заводы и фабрики, трещали пулеметы, люди валились на снег площадей, осыпались, как песок или дряхлая известь со стены, царские дворцы, лопались жирные животы капиталистов, а баба все стояла, крепко оперев ноги в землю, опускала голову, и пламя с ее головы перекидывалось на материки, на дальние острова, на столицы и хижины.

«Мир хижинам, война дворцам... Вот точно так! Война – дворцам! Вся кровушка выпита из нас! Вы нами владели? Теперь вот тарелкой каши повладейте-ка! И та вам не принадлежит!»

Мотор тархтел, тархтел, потом смолк. Лямин все-таки подошел к окну: а вдруг кто чужой мотор заводит? Рядом с автомобилем стоял Сережка Люханов. Он увидел Лямина в окне и успокаивающе поднял к плечу кулак: я тут, все в порядке, штатная проверка. Лямин кулак сжал в ответ. Так друг другу потрясли кулаками, и Лямин вернулся на свое место под лестницей.

Чай ждал его, как пес, у ног. Он наклонился за чаем, и тут за дверь в комнату царей раздался тонкий женский стон, и он дернулся, носком сапога задел чай, стакан опрокинулся, и чай вылился на пол. Он следил, как кипятки медленно течет по крашеной половице: «Вот и попил, и согрелся». Оглянулся: чем бы подтереть? – и рукой махнул: и так высохнет.

«Хорошо живем. Охраняем царя, хорошая служба. И денежку дают. И харч опять же. И...»

Перед глазами замельтешили, побежали конские морды, конские ноги. Уши услышали уже позабытый грохот. Снаряды летели, и пули свистели, и он – среди всего этого крошева и огня – тоже стрелял, а вокруг столбом вставала до неба страшная, оглушительная ругань, он в мире и в жизни своей никогда такого мата не слышал, как там, на войне.

«Война! Я ж воевал. Я что, туда опять хочу?! А ведь ушлют, ежели что. Вдруг что напорту с царями этими. Или Красной Армии солдаты понадобятся. И все, каюк: Авдеев

напишет приказ, меня рассчитаю, погрузят в мотор... Потом в вагон... И... Гражданская наша война большая... По всей России размахнулась... Пошлют куда хотят... Хотя в донские степи... Хотя под Петроград... Хотя под Иркутск... Хотя...»

Медленно, шепотными стылыми губами, повторял себе: «Я же живой, я пока еще живой, потому что я тут, при царях, при царях. Цари мою жизнь спасают, выходит так. Что, он должен быть им благодарен? Как это раньше, при царях, говорили: «премного благодарен...»

...Глаза слипались, и между ресницами мелькали, среди конских ноздрей и бешеных, угольных косящих глаз, женские глаза. Они уходили и вводили, и он шел, а потом летел, и его губы уже целовали эти улетающие глаза, а женщина вроде бы сидела на коне, хорошо сидела в седле. Да не женщина, а девочка, милый подросток, только у нее почему-то сильные руки деревенской бабы – она и сено может граблями ворошить, и лопатой весь огород вскопает – не охнет... И вот верхом скачет... «Маша... Маша!..»

«...Я Пашка, Пашка я, а ты дурак!..»

...И конские морды мотались и всхрапывали, и хвосты летели мимо – все летело мимо, мимо; все жлось, обжигалось. Нельзя было ни к чему прикоснуться, все умирало на глазах, и даже плакать нельзя было, слезы все выжег огонь, и зрачки выжег, глаза вытекли, он видел нутром. А нутро – вот оно стонало, плакало и выло, оно рычало и орало, и рвало надвое, а в него стреляли, и вылезали наземь и кишки, и сердце, и все дурацкие людские потроха. А они у нас такие же, как у коня, у свиньи, у всей на свете живности: «Человек! Остановись! Зачем ты убиваешь человека! Ведь ты же его не освежуешь, не съешь, в его шкуру не оденешься! За чем...»

...– Ты! Солдат Лямин! Почему спишь на карауле?! Э-э-э-эй, Лямин, так твою растак!

Михаил махнул башкой, как конь, и выпрямился, выгнул спину и выпятил грудь. Винтовку – к ноге.

– Виноват, товарищ Мошкин!

– А-а-а-ах, ты...

К нему слишком близко, так, что пахнуло отвратным перегаром, подошел Александр Мошкин.

Товарищ Мошкин – правая рука Авдеева. То ли его заместитель, то ли его ученик. Да просто помощник; парень на подхвате. Авдеев уходит на ночь к себе домой, в Доме не ночует – вместо него тут торчит Мошкин. Он злоказовец и, видно, старый приятель Авдеева. Солдаты странным образом кличут его не Александр, а Гордей. Почему? «Повар Гордей, не отрави людей!» Мошкин поварешку отродясь в руках не держал. Вот бутылку – это да, это с удовольствием и всегда пожалуйста. Особенно на дармовщинку.

– Так-рстак, Лямин! Повеселимся?! Али ночка не коротка?!

Лямин держал винтовку крепко.

«А что, ежели попугать? Взять да и на него наставить».

Он тебе потом такого наставит... Не дури...»

– А у меня косушечка есть!

Вынул из кармана косушку. Поводил ею в воздухе.

– А еще у меня... Вот что есть!

Вынул из другого большую сизую бутылку, в ней плескалась мутное, белесое.

– Лафирка гнала. Ох, слезу вышибает! Закуска-то как? Имеется? Али поварихой закусим? Ты не против? От задка кусочек...

У Михаила перед глазами помрачнело.

– Ты, говори, да не заговаривайся.

– Сейчас народ разбужу! Эй! Народ!

Орал в полный голос. Из караульной высовывались головы.

– А, повар Гордей.

– Мошкин это!

– Повар Гордей, не стражай людей...

Мошкин, держа в обеих руках водку и самогон, вращал бутылками не хуже, чем жонглер в цирке.

– Давай-давай, ленивцы! Отметим нынешнюю ночь!

– А што, Мошка, нынешняя ночь сильно отличацца от давешней?

На круглом веселом, лоснящемся лице Мошкина, скорее женском личике, с мелкими кукольными противными чертами, для мужика негожими, нарисовался таинствен-

ный рисунок. Он прижал к губам бутылку с самогоном, горло бутылки, как прижимал бы палец: тс-с-с-с.

– Тиха, тиха... Я вам щас... Отдам приказ. Живо в гостиную! И валяйте оттуда – несите роялю в караульную!

Солдаты, потягиваясь, выходили из караульной. Кто не спал, стоял на часах – винтовки на плечи вскинул, подошел ближе: что за шум, а драки нет?

– Слышали! Быстро – роялю – в караульную! Не... Обсуждать-ть-ть!

Оглянулся на застывшего Лямина.

– А ты глухой, што ли, Лямин?! Или ты против?! А-а-а-ах, ты против... Приказа?!

– Я не против! – Лямин прислонил винтовку к перилам.

Солдат Исупов схватился за ручку двери в гостиную и рванул дверь на себя.

«Вот так бы взять... И рвануть дверь... Ту...»

Царям приказано не запирается на ночь. Они выполняют приказ. Они – послушные. Они – овцы.

Солдаты, стуча сапогами, вваливались в гостиную, обступали большой рояль, похожий на застылое черное озеро, озеро под черным льдом. Раньше инструмент стоял в чехле, да холщовый чехол содрали безжалостно – на солдатские нужды, на портянки.

– Эка какое чудище!

– Дык она же чижелая, рояля эта.

– А нас-то много.

– Ты, Севка, заходи с тыла! С тыла!

– А и где у ее тыл?

– Где, где! В манде!

– Давай, ребя, хватай! Подымай!

– Раз-два-взяли... Еще раз взяли!

– Понесли-и-и-и-и-и!

Спускали рояль по лестнице, как чудовищный, для невероятного толстяка, черный гроб. Струны скорбно звенели. Толстые рояльные ножки ударились о перила. Солдаты кричали, хохотали, шутили солено, жгуче.

– А ты всунь, всунь ей под крышку! И прищемит навек.

– Похоронную музыку умеешь играть?! Не умеешь?! Так научись.

– А точно, боком на бабу похожа! Так бы и прислонился.

– И ножки у ней, и жопка!

– А кто из нас наилучший музыкант?

– Да вон, Ленька Сухоруков! Он такую музыку игрывал в окопах! И на костях, и на мудях...

– Лень, и чо, народ слухал?

– Слухал, ишо как! И денежку кидал!

– Ну ты арти-и-и-ист...

Кряхтя, задевая боками рояля о стены, шумно, с криками и прибаутками, наконец, перетасили рояль в караульную комнату. Подкатали к окну.

– Ой, у ее и колесики... Славно...

– Пошто к окну водрузил! Тапера к окну не подойдеш, фортку отворить!

Мошкин качался в дверях, все обнимал, лелеял свои бутылки.

– Вот, отлично, хорошо, люблю! Муз-з-зыку...

– Эй, тяни стаканы!

– А мы из горла. По кругу.

– Заразишься какой-нить заразой!

– А ты чо, больной? Не дыши на меня!

– Да ты ж не доктор, дышите – не дышите...

Федор Переверзев уже тащил гармошку. Уже перебирал пальцами по перламутровым пуговицам, растягивал меха.

Мошкин, шатаясь, добрался до рояля. Ему услужливо пододвинули стул. Он сел, проверил задом, крепко ли, хорошо ли сидит, покачался на стуле взад-вперед, даже попрыгал; откинул крышку, нежно, пьяно погладил клавиши.

– Ух ты моя маленькая, роялюшка моя.

Как давно я на тебе не играл. А вот щас поиграю на душеньке моей.

Обе руки на клавиши положил.

Михаил смотрел: черная-белая, черная-белая, и так торчат в рояльной пасти все эти зубы то черные, то белые. В ночи светятся. В караульной темно. Илюшка внес зажженную керосиновую лампу. В лампе, внутри, трепался, умирал и рождался опять смутный, мерцающий сквозь всю закопченную жизнь, хилый огонь. Красный. И тут красный. Странный красный фитиль, красно горит.

«И неужто будет играть? Брямкать по этим черным, белым зубам?»

Мошкин вжал пальцы в клавиши, а потом побежал ими по клавишам, и из рояля

полезли звуки. Звуки жили отдельно, а Мошкин отдельно. Неужели он все это делал своими руками? И где только научился?

Мошкин запел мощно, пьяно, фальшиво и все-таки красиво.

– Ах, зачем эта ночь! Та-а-ак была хороша... Не болела бы грудь! Не страдала б душа!

Солдаты знали эту песню. Подхватили.

– Полюбил я ийо-о-о-о... Полюбил горячо-о-о-о! А она на любовь... Смотрит так холодно...

Лямин крепко почесал себе грудь поперх гимнастерки: «Фу, пахну, стирать одежду надо, в баню надо. Когда еще поведут?»

В стекло часто, мотаясь под теплым сильным ветром, била усыпанная крупными зелеными почками ветка. Будто сердце бьется.

– И никто не вида-а-ал... Как я в церкви стоял!.. Прислонившись к стене-е-е... Безутешно... Рыда-а-а-ал!

– Слышьте, ребята! Кончайте вы это уныние! Оно же и смертный грех, однако! Однако давайте-ка наши, родненькие припевочки! Эх-х-х-х!

Илюшка нес стаканы, вставленные один в другой, высокой горкой. Раздавал стрелкам. Солдаты брали стаканы, вертели, переворачивали, нюхали.

– Чисто ли вымыт, нюхашь?

– А как иначе! Выблюешь же, ежели из грязи пить!

– Да по мне хоть из лужи, был бы самогон крепкий!

– Повар Гордей, наливай!

Обе бутылки, притащенные Мошкиным, стояли на рояльной крышке.

Мошкин встал, качнулся, но удержался на ногах; зубами открыл одну бутылку, вторую, ему подносили стаканы, и он наливал так – из обеих рук. И ни капли на пол не сронил, такой аккуратный.

Солдат Переверзев закрутил, завертел гармошку, растянул, сжал, гармошка издала пронзительный визг, потом зачистил, забежал пальцами по пуговицам, и сам зачистил голосом, выталкивая веселые жгучие слова из шербатого рта:

– Ты куда мене повел,  
Такую косолапую?!  
Я повел тебе в сарай,  
Немного поцарапаю!

Частушку подхватил, вернее, вырвал из  
рта у Федора покрасневший после глотка  
водки Илюшка. Он подбоченился, вцепился  
себе в ремень, выставил вперед ногу в гар-  
мошкой сморщенном сапоге.

– Гармонист, гармонист,  
Торчат пальцы вилками!  
Ты сыграй мне, гармонист,  
Как бараю милку я!

Подскочил, упер руки в боки Степан Идри-  
сов:

– Эх, яблочко,  
Ищо зелено!  
Мне не надо царя,  
Надо Ленина!

Все пили. Опустошали стаканы.

Стакан в руке у Михаила обжигал лютым  
холодом, запотел, будто стоял на льду или в  
погребе, и вот его вытащили и втиснули ему  
в кулак.

Он пил, глотал, самогон дохнул в него чем-  
то былым, забытым, домашним. Пьянками,  
пирушками из детства, когда разговлялись  
на Пасху; когда, после смертей и поминок,  
друзья притекали к отцу, стукали четвертя-  
ми об стол, рассаживались и сидели долго,  
и пили, и голосили песни, и быками ревели,  
плакали так.

Федор кинул Лямину через веселые шары,  
теплые кегли голов, юно и бодро подбритых,  
косматых, седых, лысых:

– А ты чо не поешь? Али не наш, не рус-  
ский?!

Самогонка хватила обухом по голове. Все  
цветно и пылко закружилось, заблестело вос-  
торгом и слезами. Лямин поставил стакан на  
рояль, сделал ногами немислимое коленце –  
подпрыгнул и ножницами ноги в воздухе скре-  
стил: раз-два! А когда приземлился, колени  
согнул, присел – и так пошел вприсядку, вы-

брасывая ноги в сапогах в разные стороны,  
и уже кого-то носком сапога больно ткнул,  
и на него выругались и засмеялись.

– Эх, яблочко,  
Да на тарелочке!  
Зимний мальчишки гребут,  
А не девочки!

Эх, яблочко,  
Да кругложапое!  
Революция висит  
Над Европою!

Гочут, огрызаются, головами крутят,  
частушки подхватывают; вот уже все хотят  
петь; вот уже все горланят вперебой, кто во  
что горазд, и Мошкин зажимает уши руками  
и визгливо кричит:

– Ти-ха!.. Люди-то ведь спят!..  
– Люди?

Ванька Логинов подшагнул к Мошкину. Про-  
тянул руку за ополовиненной бутылью. Без вся-  
кого стакана, из горла, мощно хлебнул.

– Это они – люди?! Цари говенные?! Со-  
сали из нас века соки, силушку... Землю всю  
– себе под пузы подгрести!.. Пировали, тан-  
цовали, лека мы на пашнях да в забоях да  
на мануфактурах – корчились... А ты: лю-у-у-  
уди!.. Сказал тоже.

И сразу, без перерыва, оглушительно,  
хрипло грянул, растягивая в отчаянной улыб-  
ке рот без верхнего резца – в драке выбили:

– Эх, яблочко,  
Да семя дулею!  
Попляши-ка ты, наш царь,  
Да под пулею!

Переверзев так терзал гармонь, что Лямин  
испугался: как бы не разорвал надвое.

«Она там спит. Она... Уже не спит».

– Ты... – Коснулся плеча Федора. – Потю-  
ше, а...

– А што, ушки болять?!

Гармонь орала, взвизгивала и вздыхала, и  
плакала, как человек.

Всюду: на полу, на полках, на черном льду  
рояля – окурки, папиросы, самокрутки,

стаканы, портянки, снятые от жары гимнастерки, и даже среди всего этого впопыхах сдернутый с шеи вместе с рубахой чей-то, на грубом веревочном гайтане, почернелый нательный крест.

\* \* \*

...Аликс стояла у зеркала, когда вошел комендант Авдеев.

Он был противен ей. Впрочем, как и они все, тюремщики. Но Авдеев был противен особенно. Ей хотелось плюнуть в его харю, и она тут же одергивала себя, упрекала в бесчувствии и злобе, тут же, на ходу, где заставляло ее это чувство – в коридоре, в столовой, во дворе на скудной бледной прогулке, – пыталась молиться, и молитва выходила плохо, застревала не только в горле, но и во лбу, в сердце. Больная, длинная заноза. И мучит, и колет, и вытащить нельзя. И теперь уже никто не вытащит.

Ее Ники провел бессонную ночь из-за криков пьяной солдатни; он лежал на кровати, уже одетый. Лег в штанах и гимнастерке поверх нищего, в дырах, покрывала. Это не было покрывало инженера Ипатьева; комендант откуда-то распорядился доставить его вместе с огромными, величиной с добрую шубу, подушками, набитыми смрадным старым пером. Может быть, из блошиной пролетарской ночлежки?

Аликс дернула углом рта, и ее лицо стало напоминать ожившую белую венецианскую маску.

Она хотела поздороваться с этим человеком – и не поздоровалась. Не могла.

Стала совсем плохой христианкой, никудышной.

И Авдеев, тоже не здороваясь, торжествующе сказал:

– Ну как почивали... Граждане?

Через шматок молчания добавил:

– Арестованные.

– Благодарю. Ужасно, – подал голос с кровати царь.

И царь тоже не мог говорить с Авдеевым. Мало того, что он их унижил по приезду – он продолжает унижать их и сейчас, и всякий

день! Царь напряженно думал, чем и как он, по рождению и по праву царь, мог бы унижить это красное отребье, бывшего слесаря. Думал, кривил рот, по лбу его текли и извивались мучительные морщины, но так ничего и не придумывалось ему эдакого, чтобы Авдееву вдруг стало больно. А потом он так же, как Аликс, останавливал себя и упрекал: «Как можно! Господь создал всех, всех людей одинаковыми! А эти люди, они просто заблудились! Их просто нашпиговали дикими идеями... И они запутались. Им можно, им надо помочь!»

Но как, чем помочь? И будет ли эта помощь принята? Царь не знал. Говорить с ними о Христе? Они Его отвергают. Для них Бога нет уже давно; с самого начала революции, о которой, как они говорят, они всю жизнь мечтали, они приближали ее, не шли, а просто бежали к ней, брели, спотыкаясь о смерти и ссылки, ползли. И вот доползли. И она обернулась братоубийственной войной. «Авдеев, ты мой брат! И я бы обнял тебя, и расцеловал на Пасху, троекратно. А ты... Морду воротить. Ты – меня – презираешь! Ты ненавидишь меня, я же вижу; но я, я должен тебя – любить! Как мне это сделать? Как мне сделать это искренне, по-настоящему, как это делал, умел Христос?»

– В чем ужас-то?

Николай скинул с кровати обмотанные портянками ноги на пол. Долго натягивал сапоги. Потом медленно, очень медленно поднял лицо к коменданту. Лицо царя, прежде такое приветливое и сияющее, все неистово заросло бородой и напоминало грозовую тучу.

– Ваши, – он подчеркнул это, – ваши солдаты всю ночь буянили. Что они праздновали? Свадьбу? Крестины?

Авдеев уже нагло смеялся.

– Скажите, а вы, гражданин полковник, никогда, в армейскую свою бытность, не веселились, не гуляли, не кутили? Или, вы хотите сказать, вы никогда в жизни не пили водки? С мужчинами такое бывает.

Царица так и стояла около зеркала. Вертела в руках пузырек с духами «Shypre» Франсуа Коти. Потом поставила духи на зеркаль-

ную тумбу, они зелено, алмазно отразились в зеркале; схватила кисти своего шелкового капота и стала нервно щипать их.

– Почему же нет. Я веселился. Но в тех местах, где рядом за стеной не спали.

– Ничего! Ведь перетерпели же? – весело крикнул Авдеев.

Авдеев понимал, что издевается над царями. И это доставляло ему ни с чем не сравнимую радость, даже счастье. Слесарь, он теперь распоряжался царской семьей! Вот как вознесла его жизнь! Когда она его еще так вознесет? Да, видимо, уже никогда. Значит, надо ловить этот миг удачи. И пусть неудачник трясется в рыданиях. А он празднует! Это он сегодня празднует! Да каждый день с царями – как день рождения; какое удовольствие их топтать, видеть, как глаза бывшей императрицы темнеют от ярости!

Царица бросила вертеть шелковые кисти халата. Сказала себе: «Спокойно, спокойно, Аликс, успокойся. Это всего лишь человек; и ты всего лишь человек. Вас жизнь поставила на одну доску. Но ведь и одесную Христа висел разбойник, и ошую висел; и один Его поносил и проклинал, а другой смиренно, нежно попросил его: «Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем!» – и Он ответил живой и любящей душе: «Ныне же будешь со Мною в Раю».

...А этот, этот – неужели с тобою в Раю будешь?..

...Боже, не надо мне такого соседства... И Рая тогда – не надо...

Сделала шаг к Авдееву. Очень важный, трудный шаг.

– Я бы хотела вас попросить.

– Ну?

Авдеев опять улыбался. Он не мог скрыть радости и довольства.

– Я бы хотела, чтобы рояль... Которую, не знаю по чьему приказу, сегодня ночью перенесли в караульную комнату... Была возвращена на прежнее место. В гостиную. Моя дочь Мария... Она любит играть на рояли. И другие дети тоже. Пожалуйста! Прошу вас!

Авдеев прищурился. Все, кто побывал в Москве, рассказывали, что их вождь, Ленин, любит прищуриваться; и теперь Авдеев пытался копировать Ленина. И все время щурился тоже. Как будто плохо видел.

– Идите вы к черту!

Аликс изо всех сил попыталась не отшатнуться.

– Господь вам судья.

Она тяжело, через силу подняла тяжелую, растолстевшую руку и медленно, скорбно перекрестила коменданта. Комендант плюнул царице под ноги.

– Тьфу! Не надо мне этих ваших крестов! Вы и так уже всю землю, все небо закрестили! Крестили, крестили, и что толку? Везде огонь полыхает! Война! И мы победим.

– Сим победиши... – прошептала старуха и уже себя самое осенила крестным знамением.

Авдеев победно поглядел на царя, на царицу и вышел. Нарочно громко хлопнул дверью. Аликс растерянно обернулась к мужу.

– Зачем тогда он приходил?

– Ты так и не поняла? – Николай смотрел на жену печально, еще немного – и глаза его превратятся в круглые, полные невылитых слез, огромные, мрачно-светлые очи византийской иконы. – Поглумиться.

– Но ведь глум... – Она искала русское слово. – Глум... Насмешка... Издевательство... Это... Ему же будет хуже, его же жалко! Ему все это вернется... Рикошетом... Вернется все, все...

Жена уже плакала. Муж подошел к ней, взял ее за плечи и стал покрывать ее влажное, дряблое, нежное, востроносое лицо мелкими, быстрыми поцелуями.

– Да, да. Конечно. Вернется. И его жалко. Ты права. За него надо молиться. Ты будешь за него молиться? Будешь?

– Буду... Буду...

Она всхлипывала, как набедокурившая девочка. Крепко обняла его за шею. Шея царя стала слабая, он весь был истощен, слаб и хил, еле стоял на ногах. Ему всего пятьдесят лет. Всего пятьдесят.

А ей? А ей – три тысячи.

– Мальчик мой, – сказала царица и сильно, больно притиснула его голову к своему седому виску, к зареванной щеке.



...Глубокой ночью, в Тобольске, в Губернаторском доме, творилось священнодействие.

А впрочем, обычнейшее из обычных дел. Женщины шили.

Со стороны – распахни дверь – сидят девицы и шьют; но отчего посреди ночи?

А им так захотелось. Днем выспались.

Лифы и буфы. Струятся складки. То холстина, то шерсть, то шелк. А вот даже бархат подвертывается под руку. Сам так и лезет. Пришей меня! Ушей меня!

А если охрана спросит, что они тут делают?

Можно быстро ответить: мы хотим завтра одеться во все новое, нам старое надоело.

А можно и так: Насте приснился сон, а он вещий, ведь ныне ночь с четверга на пятницу. И сон такой: мы все сидим и шьем. И иголки мелькают в руках. Узкие стальные молнии во мгле.

– Какая мгла, мы же вон – на столе – свечку жжем!

– При свечке не увидишь, куда иглу втыкаешь. Эй, охрана, зажечь свет!

– Настенька, что ты так кричишь-то, тебе привиделась охрана. Они ночью не придут. Спокойно шей.

– Я спокойно шью, Таточка. Я только не знаю, куда... Вот этот...

– А, этот! Вот сюда. Давай покажу. Вот так.

– А эту... Пуговицу куда, Тата?

– Олечка, думаю, вот сюда. И к ней... Рядом... Давай еще одну...

...Ночь только кажется огромной. На самом деле она идет, и проходит уже. И они должны успеть. Они нынешней ночью, впятером – Лиза, нянька Саша, Тата, Настя и Ольга – зашивают все драгоценности, что они увезли с собой из Петрограда, в одежды великих княжон. Работы много. Бриллианты, сапфиры, изумруды, жемчуга, золото надо спрятать искусно. Зашить под подкладки, вшить в лифы платьев, с испода корсетов, обшить камни холстиной, превратив их в пуговицы.

Татьяна дирижирует этой ночью. Ночь – оркестр. Драгоценности – ноты. Иглы и нитки –

скрипки и виолончели. И поют, вздрагивают голоса, исполняя не разученные никогда еще партии.

– Прячь лучше... Все видно...

– Вот прекрасный лиф. Давай... Вот тебе подкладка... Я сама вырезала...

– Бери скорей. Самый крупный...

Огромный алмаз перетек из дрожащих пальцев Насти в пальцы Лизы Эрсберг.

– А сами не можете, ваше высочество?.. Ладно, давайте...

– Ольга. Держи. Не вырони. У тебя руки трясутся.

– Это у тебя трясутся.

– Не возводи на меня поклеп.

– Ваше высочество, дайте я.

– Сашенька!.. Какая ты добрая.

– Тут была пуговица зеленая... Зеленая...

– Изумруд, что ли?.. Это папа подарил мама на свадьбу...

– Тихо... Не ори...

– Я разве ору...

Руки ходят, передают друг другу камни, золото высверкивает яркой спинкой ящерицы. Камни холодные. Их только что достали со дна реки. Со дна жизни. Их обтекала кровь, как вода. Их целовали и ранили себе губы; да все в прошлом.

– Девочки, а что с нами было в прошлом? Кто помнит?

– Не будем про прошлое. Давай лучше про будущее.

– Давай! Нас скоро освободят. Вот там, куда мы едем.

– Мама сказала, есть отряд верных офицеров.

– Тата, Таточка, а ты правда веришь в это?

– Тише!

Няньчка Саша Теглева сидит спиной к закрытой двери. У Сашеньки очень широкая спина, и стул к двери стоит слишком близко. Когда, не дай бог, будут открывать – наткнутся на стул и открыть не смогут. Пока будут возиться со стулом – девочки все успеют спрятать. А если они захотят обыскать?

– Душки, а может, запереться?

– Настя, Родионов же позавчера сбил с двери защелку.

– А ты делай так: бери холщовый лиф... Вот... Камни насыпай в лиф платья... Вот так... Накладывай холст... И зашивай, вот так, аккуратноенько, по бокам... А потом прошей насквозь, простегай, ну, как одеяло...

– Вот так?..

– Да, миленькая, именно так... У тебя получится...

Ветер, ветер. Стекла в окне трясутся. Души трясутся. Но души – не зайцы. И не должны подгибать лапки. Их мама смелая. Смелыми станут и они. Да уже стали. Цесаревич в своей комнатке спит спокойно, не стонет. Сегодня воистину спокойная ночь.

– Лиза!.. Кажется, кто-то идет. Шаги по коридору!

– Никого... Тебе почудилось...

Опять шьют, кладут, обкладывают тканью, зашивают по краю, по краю.

Игла прокалывает жизнь по краю. По краю.

И они, вместе с иглой, тоже идут по краю. Они – живые иглы, и тянут за собой черную нить времени.

В окно, как в зеркало, глядится густо-синее небо с крупными сибирскими звездами. Небо само себе нравится. Анастасия вскидывает от шитья лицо. Лицо цвета гимназического мела, неплохо девочке не спать в это время. «Если не спишь в два часа ночи, то и не заснешь до утра», – говорит мама. Но сегодня такая ночь. Она слишком важная. Мама все правильно решила. Это драгоценности короны. Скоро комиссаров прогонят чудесные белогвардейские отряды, великие герои, и снова наступит... На земле мир, в человецех... Благоволение...

– Таточка...

– Что?.. Тише...

– А мама мне говорила: «Нельзя причинять боль никакому живому существу...»

– Все верно говорила... Шей...

– Она говорила: «Каждый цветок, каждый лепесток чувствует боль... И ужас... И даже камень – чувствует...» А наши камни чувствуют?.. Вот они сейчас боятся, когда мы их куда-то в темноту зашиваем... Какими-то нитками... Они тоже живые?..

– Шей, Стася... Все – живое...

– А животные?..

– Что животные?..

– Мы же их убиваем... А потом едим... Им тоже больно...

– Всем больно...

– Олечка, я знаю, что всем... А что, если вообще не жрать мяса?..

– Настя, не жрать, а есть... Настя, мы же не едим мяса в пост...

– Пост проходит... И потом опять мясо...

– Лиза! Поддай мне вон то ожерелье.

– Длинное, жемчужное?..

– Да... В нем мама была... На коронации...

– Господи, какое красивое... Я будто век не видала все наши драгоценности...

– Ну вот, смотри и запоминай...

– Да я и так все помню...

– Мама сказала: «Кто из вас первой будет выходить замуж – той и подарю жемчуга...»

– Ой, тогда я первой выйду!..

– Настинька, сначала жениха заведи...

– Саша! Знаешь что... Встань... И пересядь на кровать, к нам... А сама ножку стула в ручку двери воткни... Так надежнее...

Нянька Теглева встала и послушно исполнила приказание Ольги. Перевернула стул и продела ножку в дверную медную, сто лет не чищенную ручку. Осторожно присела на край кровати.

– Нас всех здесь много... Я кровать продавлю...

– Не бойся, ты худенькая. Не продавишь...

Рубины. Вот этот – из Индии. Подарок английского короля Георга. Колье королевы Виктории. Ожерелье покойной матери Аликс, их бабушки, ее они никогда не знали – она в могиле. Жемчуга: розовые, черные и желтые, добытые со дна моря, – это папа привез из Японии. Какая сказочная страна, там женщины ходят в деревянных сандалиях и в кимоно и на спине завязывают огромный бант, они похожи на тропических бабочек. А вот и золотая бабочка, в размах крыльев вставлены крупные и мелкие сапфиры. Тоже Индия? А, может, Африка? Драгоценности – это весь мир. Вот он, весь на ладони, перед тобой.

И рассыпался, раскидывался вдоль по кровати, по смятым простыням, весь мир – алмазы и рубины, кровь и слезы, крики зыды-

хающих от газов на военных полях, ругань в окопах, тусклый стальной блеск угрюмых танков, медленно падающий с бруствера офицер, солдаты в грязи, стонущие, тянущие руки: «Больно! Больно! Спасите!» Жемчуга стерильных бинтов, опалы марли, хрустальные друзья госпитальной ваты, парча хирургических повязок, и вот, страшно улыбаясь, обливаясь кровью рубинов и яшмы, турмалинов и кораллов, встает убитый человек, а у него вместо сердца – сквозь решетки, прутья ребер – горит свеча, и огонь падает на непролазную грязь, на столбовую дорогу, на стонущих, умирающих от взрыва, на расстрелянных во рву. Драгоценности – вот они, свечи уже в руках людей, их толпа, они идут, да не в храм, а мимо храма, за сумасшедшим человеком, он так страшно, надсадно кричит, вопит: «За мной! Я дам вам счастье! А всех, кто не с нами, мы убьем!» – И лысая его голова сверкает гладко обточенным кабошоном, и внутри чудовищной лысины, в ее бледном опале, перекачивается огонь красной крови, ее несгораемый, неопалимый сгусток. Умирают цари, над ними поют панихиду, над ними кадят и зажигают все, все до одной, золотые свечи на гигантском небесном паникадиле, оно размахнулось во все звездное весеннее небо, это Пасхальное золото, и это кровью красят яйца. Это не яйца искусника Фаберже – это то алое яйцо, что несчастная Магдалина поднесла на голый ладони надменному императору Тиберию, поцеловала и поднесла. Это все было еще до раскола, еще до Иоанна Грозного, еще до князя Олега и княгини Ольги, еще до скорбных бездонных икон Византии. Так давно, что люди уже забыли, как это было, а драгоценности вот не забыли, они, живые, весь путь прошли, катились по земле и катились, и переступали босыми, в мозолях, ногами каторжан, и звенели серебряными кандалами, они только прикидывались чугунными, и захлестывали живые шеи золотыми веревками, они лишь притворялись пеньковыми. А сокровища все вспыхивали, все обжигали руки и сердца, блестели во ртах вместо зубов, торчали подо лбами вместо глаз, бросали их в печь вместо черного древнего угля,

лопатай гребли из отожженного места, грузили на телеги и выкидывали на свалку вместе с робронами на китовом усе и фламандскими кружевами, а они все катились и катились из тьмы, из смерти, из прошлого. И над ними впору было стоять со свечой и петь ирмосы и тропари, а кто там стоит, улыбаясь во все драгоценное лицо?.. Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ... И сущим во гробех... Живот даровав...

Да это не человек! Это свеча! Это... Драгоценность...

– Таточка, у тебя нитка порвалась... и запуталась... Давай я вставлю.

– Спасибо, душка, я сама.

– Тебе плохо видно. Свеча догорает.

– Свеча?.. Да, и правда...

– Правда?..

– Все, все правда...

– И то, что мы сидим и шьем здесь, тоже правда?

– Да.

– А я думала, мне все это снится...

Катится круглый теплый жемчуг под их еще детские пальцы. Нет прощения. И нет возврата.

Под столом перевернулся и во сне взялая их любимый спаниель.

– А рубин похож на кровь, Тата.

– Настя, что ты болтаешь.

– Девочки... Девочки... Умоляю, тише...

\* \* \*

## ИНТЕРЛЮДИЯ

Какая музыка звучит! Какая музыка играет, когда здесь пулемет строчит, а здесь с молитвой умирают!

Какая музыка... Теперь... Постой... Минуты улетают... Пока открыта в небо дверь, пока за дверью смерть рывает.

Какая музыка... Молчи... Хрипят... Кричат... стреляют, слышишь... Жгут у иконы две свечи. И обнялись. И еле дышат.

Какая музыка...

...Да разве жизнь – это музыка? Это все штучки благородных салонов, рояли это все барские, старые, желтые, источенные жуч-

ком, широко развернутые на попитре ноты. А жизнь – вон она, за блестящими чистыми стеклами окна, за кружевными занавесками: бабы идут в лаптях, мужики – в грязных сапогах, и тащится тощая лошаденка, впряжена в старую телегу, в телеге свалены мешки, непонятно, с чем: с картошкой, а может, с подмерзлой свеклой, а может, с овсяными отрубями. На мешках – детишки: глаза голодные, ручки тонюсенькие, как плеточки. Плачут – как щенки скулят. И что? А то! Мы в революцию пошли, чтобы вот этот, этот народ одеть, обувь, накормить! Выучить грамоте!

...О, если бы так. Если бы так и было.

Но ведь все это было и не совсем так.

Революционеры готовили революцию ради смуты. Не все, но многие. Народом, его именем лишь прикрывались. Им важно было ввести народ в смуту – растерянным народом легче управлять, легче гнать его туда, куда задумано властителями. Сам Ленин удивлялся и восхищался: «Как это нам удалось почти без кьови взять Зимний дворец! Ведь это же пьосто чудо, батенька! Фойменное чудо! Я сам до сих пой не могу опомниться! Ну, у нас тепей вейховная власть! И уж мы ее, будьте добьеньки, не отдадим! Ни за какие ковышки не отдадим! Никому!»

Революционеры готовили революцию ради коммунизма. А что же это такое, коммунизм? Утопия? Трагедия? Вампука? Райский сад на земле? Почему люди за коммунизм отдавали жизни? Зачем клали себя, свои сердца, мясо, кости и души в фундамент нового мира, что никогда не был построен? И не будет.

Не будет?

Для этого надо понять, что такое коммунизм.

Коммунизм – это когда все равны, все довольны, все счастливы, все грамотны, все работают, все всем обеспечены, все рождаются, вырастают, живут. А потом умирают.

Нет преступников. Нет опасных и гадких болезней. Нет войн. Нет революций. Нет тайн за душой. Нет голода. Нет страданий. Ничего нет.

А умереть можно и безболезненно: кто пожелает, тому делают сонный укол.

Но это только в виде исключения. А так все умирают сами собой, тоже радостно и счастливо, с сознанием хорошо выполненного на земле долга.

Люди всегда идут за несбыточной мечтой. Так одержимый любовью парень идет за девушкой, даже если ее увозят за тридевять земель; идет, сбивая в кровь ноги, по дорогам своего добровольного страдания. Мечта тянет крепче любого магнита. Мечта выворачивает тебя наизнанку, перелицовывает, перекраивает. Из верующего в Бога ты становишься тем, кто разбивает молотком иконы и взрывает церкви.

Во что же ты веруешь? А, в коммунизм. Понятно.

Где же Бог в тебе? Неужели Он тебя оставил?

Ты шепчешь тихо: «Коммунизм – это будущее земли. И никуда вы все от него не уйдете. Никуда».

...Мы забываем о том, что все они – и Ленин, и Троцкий, и Свердлов, и Дзержинский, и иже с ними – цедили сквозь зубы, когда белые наступали на фронтах и громили красных: если нас разобьют в пух и прах, мы уйдем, да, уйдем, но мы уйдем так, что мир содрогнется; вместо этой страны оставим гнусное, чертовое пепелище. Пустыню. Мертвое поле. И ничем его не засеешь долгие годы. Века. Наш ужас запомнят навеки. Мы уьем эту страну. Мы выкосим ее людей.

Мы будем уходить по колено в крови, уплывать отсюда по морям крови.

Смерть. Смерть. Вот она, встает в полный рост.

Откуда? Из могил вождей?

Памятники им презрительно снесли, сдернули с помпезных пьедесталов. Отдали в переплавку. Из бессмертной бронзы отлили иные монументы.

А могилы их живы. Они шевелятся. Шевелится над ними земля.

...И над гробницами царей кровавым потом покрывается мрамор, и течет горячими слезами, как церковный воск, позолота, и жестокие, сумасшедшие ученые нагло вскрывают склепы, и вертят в руках черепа, и измеряют линейкой кости, и сомневаются,

и верят. Я все думаю: в чем они сомневаются и чему верят?

Погибли цари; но ведь погиб, смертью храбрых полег и народ.

Царей и народ смерть сравнила. Уравнила.

Там, за могилой, они нас видят, нынешних, а мы, нынешние, о них молимся одинаково: что о расстрелянных мужиках, что о царских дочерях. Я вот молюсь за прадеда моего Павла, убитого в лагере при попытке к бегству. И я молюсь за цесаревича Алексея, застреленного с отцом, матерью, сестрами и слугами там, в затхлом подвале, обклеенном полосатыми обоями; и они оба, мужик Павел и цесаревич Алексей, верю, слышат меня, и их утешает жалкая, тихая молитва моя. Они родня моя, и я родня им. Мы вместе, и мы едины.

Это чувство трудно понять тому, в ком течет иная кровь и дышит иная душа.

...Смерть не щадит никого, и бестолковое дело просить ее обождать за дверью. Есть такая старинная шотландская песенка, ее очень любил Бетховен: «Миледи Смерть, мы просим вас за дверью подождать! Нам Джени будет петь сейчас, и Бетси – танцевать!»

Мы все спорим, ссоримся, суетимся, и мысль о смерти отталкиваем от себя. Она нам не нужна, она совершенно лишняя в наших веселых и горячих рабочих буднях. Она произойдет с кем-то другим, но только не со мной! Не со мной!

...Другие революционеры, нынешние, готовят другую смуту. Власть никогда не радуется подданных. Власть всегда надо порушить, свергнуть, уничтожить затем, чтобы на ее месте водрузить другую власть и торжественно объявить: вот, теперь это будет самая лучшая власть в мире!

А люди-то одни и те же. Люди-то не меняются.

Человек слаб, и человек грешен, и человек любит сладкое, и человек любит причинять боль и наблюдать смерть. Эта болезнь течет в крови человека.

И проходит совсем немного времени, и люди убеждаются, что новая власть несколько не лучше, а, может, во много раз хуже

прежней; что народ страдает не меньше, а еще больше; что обман, подлог, жестокость, издевательство, насмешка, истязание, гибель никуда не исчезают, а все такие же остаются. И люди ропщут, люди копят огненный гнев, и опять изливают его на власть: ведь это только она, власть, во всем виновата!

А не вы ли, родные, за нее, за власть эту, сражались?

Не вы ли жизни свои клали, чтобы эта власть воцарилась?

Красная власть! Равенство и братство!

...То, что все не равны и никогда равны не будут, поняли уже давно. Но соблазн вновь и вновь таится в этом красном лозунге: «Свобода, равенство, братство». Где свобода, покажите!

Где она! И какая она!

Какого цвета? Какого ранга? Какого звания?

Революция – не свобода. И любое государство – не свобода. И нет свободы и быть не может; как не может быть вечной жизни, земного бессмертия.

Это не значит, что несвободна душа. И это не значит, что нет бессмертия небесного.

Сыграй мне это все по барским, усадебным нотам! Простучи по клавишам этот нежный, душистый мотив! Пусть за душу берет. Зажги свечи в медных шандалах! Зима за окном. Волчий мороз. Крупные, цветные, колючие звезды. Хочешь поплакать над старой, над мертвой Россией?! Плачь, по жалуй! Какая музыка поет! Какая музыка... Пылает... Когда под знаменем народ... Идет в атаку... Умирает...

\* \* \*

– Сашка, ты, главное, пей. Отличный самогон. Я такого никогда не пивал.

– Я пью, ты не гоношишь.

Люкин взял бутылку и отхлебнул из горла. Глоток вышел громкий, захлебный. Лямин аж отшатнулся.

«Ишь жадный какой. Так и все выхлебает».

Смутно подумалось о большой прозрачной четверти, что стояла в коридоре за сундуком.

Четверть странного стекла, не голубого, не зеленого, а будто в стекло, когда выдували бутылку, подмешали опал или перламутровую крошку: туманная и переливалась радугой.

И внутри – радуга. Радость, счастье. Вот дано же это счастье мужику – выпивка. В любом горе про горе забудешь. А, может, его и избудешь. Пьяным, говорят, море по колено.

«Море. Море крови».

– И вот, значитца, Мишка, потащили мы эти дурные чемоданищи на пристань. Я два ташу. Думаю: и зачем, ну зачем людям столько баракла? И с собой возить. За собой этот воз тянуть. Ну, правильно, сами не тянут, тянут другие! На этом, брат, вся ихняя радость и построена. Лакеи за креслами стоят: што вам подать такого-энтакого? Горничные с подносами бегут, спотыкающца: не изволите ли блян... Тыфу!.. Блянманже? На кухне повара над блюдами потеют. А за ними надсматривают: то ли в супчик положили, то ли мяско стушили! Так ли мелко капустку порезали, как надо, штоб ихние царские зубки легко ту капустку прожевали! И не дай-то Бог в котел бросить не тую косточку. Али на сковороду тухлый кусочек. Ешкин кот! Да тебя самого с потрохами съедят! На тую самую сковородку и бросют! И даже не разрежут! Не ощиплю! Так и сжарят, в одежке!

Захохотал хрипло, простуженно.

– Ты пей, пей. Согреешься.

– Да вроде б весна на дворе. А меня знобит. И верно, на параходе меня просвистало, на палубе. С тех пор и дохаю.

Лямин подвинул к себе стакан и налил в стакан. Люкин издал короткий смешок.

– Ты, ешки, прямо как культурный таперица. Из стакашка пьешь. А я вот прямо из нее, из родимой. – Еще раз припал к горлу синебокой бутылки, глотнул мутную, похожую на пахту жидкость. – Додащили мы барские энти, проклятые чемоданы. Прощай, Тобольск! Когда ишо свидимся!

– Ну, не зарекайся.

– Да свидимся, конечно; куды мы без Сибири-матушки? Скольки лет по морю плавал, моря дна не доставал, пил я водку, ел селедку, по матане тосковал! Эх, Сибирь моя, да

реки рыбные! Полюби меня, матаня, парня видного!

Люкин знал невероятное количество ча-стушек. Вот и тепер заблажил на весь коридор, зачистил: «Цари проснутся и не уснут. А пускай их слушают! Народ поет».

– Я любила Ленина, я любила Троцкого, а тапер буду любить Васятку Тобольского!

Лямин хохотал уже. Обнимал обеими ладо-нями бутылку, будто грел об нее руки.

– Ты погоди... Сашк... Ты давай – про па-роход...

Люкин перевел дух.

– Уф. Про паракход? Про па-ра-ход?! А што-о-о-о... Да ништо. Паракход «Русь» называщца. Чуешь, энто гордо звучит! Русь! А я смерти не боюсь!

– Хватит ты.

– Не злися, злун. Реки наши огромные, могучие. По реке плывешь, а будто по морю! Все думаю: какое оно, море? Ты вот видал?

– Видал.

– А игде?

– В Питере.

– Счастливец ты! В Питере побывал.

– Я недолго там поплясал. На одной ножке.

– А море, море-то все одно видал. Наш Тобол все лучше моря. Ширше. Говорят, вот, Байкал, славное озеро. Ну чисто море. Не бы-вал.

– Еще побываешь.

– Да какие наши годы. Конешно, поеду! Вот война закончищца... Все энти смерти, Ешки... И женюся, детей нарожу и с ими на Байкал поеду. Озеро-море глядеть!

– Ты давай про княжон.

– Ну, и вот мы по сходням валим на пара-ход. Кучи нас, народу-то. Во-первых, энти. Приделись, как на парад! Платьница в рю-шечках, в руках зонтики несут, раскрытые, а дождя нет. Я, дурак, таких не видал никогда; а энто оказался от солнца. Штобы щики не напекло. За ими семенят слуги. Ну, вся энта... Свита. Все, кого из Питера в Тобольск вместе с ими привезли. Энтот, матросик, Нагорный ему фамилие, на руках мальчонку несет.

– Цесаревича?

– Ну, кого же! Мальчишка матроса за шею руками крепко обхватил. Сидит. Как на коне,



сидит, и с матроса сверху вниз – на нас, на скот смотрит. Глаза большие, по плашке. И в глазах такое... И жалко ему нас, и видно: презирает он нас. Мы для его все одно – скот. Мы для всех их – скот! Скот, Мишка!

Лямин отпил из стакана. Самогон был, скорее, сладкий, чем горький, и пах яблоком.

«Яблоко натолкали, а еще, может, зверобоя. Зверобоем несет».

– Ты спокойней. Не блажи.

– А што?! Их перебудим?! Так разбудитесь, жги вашу мать! – заорал Люкин.

Лямин усмехнулся и еще выпил. Занюхал жаркой коркой. Хлеб уже исчез, незаметно.

– Тогда ори сильней. Чтобы сюда прибежали и твой рассказ слушали.

– Ладно ругаться-то, чай, не поп за грехи. – Люкин пьяно подмигнул Михаилу. – Я все, я смиренный. Я просто иногда хулиганю. Распояшусь... И опять подпояшусь. Ну и вот, они все хлынули на палубы, по трапу, с трапа чуть в воду не попадали, неловки дак. А за ими мы. Охрана, ешки! Впереди нас Родионов. Вот странный мужик: то, знашь, наглый такой, то смиренней козьявки. И нашим и вашим, што ли, на дудке играют? Не пойму я его.

– Да черт с ним.

– Черт с одним, черт с другим! Со всеми у нас черти! – Люкин зубасто захохотал, и Лямин видел: у него во рту все зубы прочернели от недоедания, от цинги. – Родионов машет руками направо, налево. Кричит: «Табе сюды, а табе сюды!» Всех по каютам растолкал, быстро управился. Не, Родионов, ежели надо, сообразительный. Ухватистый такой... Вижу, перед им энти мотающца: дядька-матрос и парнишка у его на руках. Пароход качат... И они качающца. Как вот самогонка в бутыли. – Люкин взял в нетвердую руку бутылку и покачал туда-сюда, маятником. – Нагорный мрачно так глазами Родионова сверлит! Белки навывкате! Мальчонка, вижу, дремлет. Сморился. А нам, вопрошат энтот злыдень матрос, куды подащца прикажете, вашество? А вам бьет его голосишком в щеку Родионов... А вам, вам... Да ко мне в каюту! Вот куды! К вам, тянет матрос, к ва-а-ам?! Да ваши не пляшут. Энто – приказ! Командир приказал – ты, моряк, не смей послу-

шачка! И пошел матрос, волоклет спящего мальчонку, и у его от затылка такие, знашь, сквозь бескозырку бешеные лучи хлещут. Аж мне жарко стало.

Дом инженера Ипатьева неожиданно обратился в пароход. И плюхал, как пароход, и хлопал плицами, и погудывал, и мелко дрожал, повторяя вибрацию страшных, с железными челюстями и стальными кешнями машин в трюме, и разрезал носом тугую, теплую, темную волну майской ночи.

– День как прошел? Не помню особо. Ну, так себе прошел. Мы ели, пили... Песни играли... Вечер сошел. Все уgomонилися. Челядь в своих каютенках притихла. А што им. Они в услужении ведь, все для хозяев привыкли робить. А тут им и робить запретили. В каютах позакрывали. Родионов самолично с ключами ходил по коридору и всех замыкал. А штоб не убегли! Правильно. Острастка нужна. В любом деле острастка нужна! Правильно я говорю-у-у... Мишка-а-а?..

Михаил не был так пьян, как Люкин; Сашка пьянел быстро, за ним это водилось.

– И царенка с дядькой взял да замкнул у себя в каюте. А сам думашь, куды спать пошел? Ну, угадай с трех раз? Не угадашь ни за какие коврижки. Пошел не спать! Всю ночь на палубе просидел, простоял... Аккурат напротив каюты княжон. То у поручня стоит, то в белое кресло сядет. Сидит. Голову чешет. Думат головой Родионов. Мыслит, што будет. У нас на селе один татарин ходил и кричал: «Думай, думай, голова, шапка новый купим!»

За окнами шумело. Ветер? Листва? Вода?

– А княжнам – ах-ах-ах-аха! – Смех забулькал у Люкина в глотке, как самогон. Он проглотил его. – Княжнам командир запретил на ночь запирацца! Ходил коло их каюты и кричал: «Я вам ключ не даю, изнутри не запереться, снаружи тоже не запрю, штобы я, значитца, мог к вам в любое время ночи зайтить и проверить, на месте ли вы! А то вдруг вы к едрене матери сбегите, в воду попрыгаете да уплывете, и поминай как звали! А мене потом ответ держать!» Ах-ха... – Руки Люкина уже блуждали, бегали, брали и роняли, уже блудили по столу, пальцы порочно шевелились – сбондить, проткнуть, смахнуть бу-

тыль со стола, как слезу со щеки. – Да, прав он, хитрец! А што хитрец? Каждый из нас... Перед властью... Хитрый...

В окно постучали. «Ветки», – вздрогнул Лямин и засмеялся своему детскому страху.

– Коло дверей часовых поставил. И кого, думаешь? – Люкин помотал головой, смешно, по-утиному. – Бронницкого, Куряшкина, Шляхтина... И меня! Охо-хоха! Ну, скажу я тебе... Скажу я тебе, Мишка, энто собла-азн... Куряшкин шуточки отпускает! Мы грохочем. Ночь-полночь! Мы не спим, и они не спят! Де-е-евушки!

Лямина как кипятком обдало: «Неужели покусались? Обнаглеи?»

Боялся спросить. И хотел.

– Знаю, зна-а-аю, об чем интересуюсь! – Опять это подмигивание, хитрое, сальное. – Знаю, да не скажу! Так тебе все и выдай, держи карман ширше! Ой, и весело нам было! Ухо к двери прислоняли, слушали. Как они там копошацца. Как божьи коровки в кулаке. Эх бы, в кулак бы косу взять... Головенку отогнуть... Всяко мы там себе представляли! Слышим из каюты Родионова крики. Стуки. Это Нагорный в стену, в дверь барабанит. И чем брякал? Сапогом? Чайником?

– Пустой бутылкой?

– Ах-ха-ха! Слышим, матрос орет благим матом: «Эй вы, негодяи, што за наглецы, игде такое только видано, мальчонка болен, а если ему лекарство какое понадобится, а если его на воздух надо вынести, а если он в уборную захочет?!» Мы ему через весь коридор кричим: «Если ты, матрос, в гальюн захочешь – ссы в золотой царский кувшин!» Га-а-а-а! А он в ответ кричит: «Не боюсь я ни вашего командира, ни вас всех, гады! Идите к бесу! Вы сами первые бесы и есть!» Мы ему орем: «А ты заткнись, полосатая гнида, царский костыль! Тебя ишо пулечка найдет! Пулечка-дулечка... Дурочка-курочка...» А он нам: «Плевал я на вас! Вы меня все равно убьете, так я ж смерти не боюсь, я моряк, я в волну глядел и смерть на дне моря видал! А у вас у всех рожи такие, такие рожи! Не рожи, а рыла! Вы ж не знаете, што такое человек, потому што вы звери!» Потом тихо стало. И у княжон тишина, и у матроса тишина. Все.

Как умерли все. Мы уши навострили. Винтовки ближе к себе придвинули. Револьверы на боках шупам. Ну, думам, а вдруг на парад какой шпиен пробралси, и в окно к княжнам залез, и щас они на нас – из оружия – как лупанут?! Да хоть из пулемета!

Михаил улыбнулся углом рта.

– Лупанули?

– Игде там! Ночь она и есть ночь. Тихо, тем но... Паракход шлепат себе. Безветрие. Ровно идет, как нож по маслу. Мы караулим. Веки слипающца, едрить их... Бронницкий вздохнул да и лег на пол у дверей. Руки под скулу подложил. И через миг захрапел! Во, думаю, тоже нахал! А мы с Куряшкиным и Шляхтиным ка-ак переглянулись... Как зыркнули друг на друга – враз все глазами сказали... И друг друга хорошо поняли. Хар-ра-шо-о-о-о!

Лямин тоже понял. Самогон больше не пьанил. Он вцепился пятерней в длинную гусиную шею бутылки.

– Ну, поняли.

– И ты ведь понял?! Да-а-а! Понял! Не отпирайся!

– Да. Понял.

– Глаза глазами, а языки-то языками. Развязали мы их. Первым шепчет Куряшкин: «Ну чо, ребята, рискнем? Такие курочки! Как из добного теста слеплены! В царской печке пекли...» – Люкин сглотнул. Показал щербатые зубы. – Мы руки протянули, сплели. Вроде как поклялися молчать... Стоим. Ой, стоим! Так стоим... Ха-а-а... Што мочи нет... Опять глазами друг друга шпыняем. Шляхтин бормочет: «Ну, што ж? Што медлим?» Руку на медную ручку дверную положил. Рука волосатая. Я на волосы энти гляжу. И представил, как он энтой самой рукой... Шарит по вороту, по шее, лямки разрывает... Кружево рвет... И лапат, и царапат энти грудки девичьи, нежные, белое мяско куриное... А другой рукой рот вопящий зажимат... Эх-х-х...

Замолк. Тяжело, надолго.

Лямин завозился на стуле.

– Ну, так...

– А, вошли мы али не вошли? Ишь, быстрый какой! Мы сперва захотели энто дело сбрызнуть. Ну, и для храбрости. Шляхтин из-за пазухи бутылешку тащит: «Вот, – говорит, –

моя мена на дорогу всунула, а я ищо, дурачила, откакзывался». Без закуски? Без закуски. Так оно ищо боле жжет. Каждый приложился. По первому кругу. По второму. Без закуски, Мишка, сам знашь, оно быстрее идет... Но и пьяней, однако. И што мозгуешь? Пялился што?!

Посмотрел с сомнением на бутылку.

– Больше половины... Или меньше половины?... Как знать... Плевать... Три их там, три. За дверями. За стенкой. Так и вижу их. Сорочки их ночные. Не спят, небось; сидят каждая на своей койке, а то и сбились в кучку, обнимаются. Трусят! И мы, трусим. Ну, шуткали. Их же все же нам приказали – охранять. А не... – Грубое, дикое слово вывалил Сашка; и Лямин вздрогнул кожей всей спины, так вздыбливается и встает из травы лежащий зверь, почуяв охотника. – Три девчонки. И хороши собой. Особенно хороша энта, гордая. Татьяна. Нас трое, и их трое! Ну, тут мы развеселились. И ищо глотнули! И стали, Мишка... Их делить. Ну да! Делить! А што тут такого! Все честь по чести!

Волосы у Михаила превратились в ползучих змей и растопырились, и потекли с затылка, с темени по вискам, по щекам, вдоль лица. А, может, это тек пьяный пот.

– Судим-рядим. Я кричу: «Тебе, Шляхтин, я знаю, Анастасия по душе!» Он башкой мотат: «Нет, не-е-е-ет, я б Ольгу взял!» Младшая, grit, слишком неуклюжа! Неуклюжа, ешки... Да зато царская дочь! На всю жизнь – детям, внукам – рассказов! Курашкин ищо хлебнул, крякнул и шипит: «Бросьте спорить, Анастасия – мне!» Ну все тут ясно. Курашкину – младшенькая, Шляхтину – старшая, а мене, выходит так, Татьяна?! Ну, все как я мечтал! О-хо-хо-ха-ха-а-а!

Лямин глядел на носки своих сапог: «Снять бы сейчас сапоги. Ноги болят. Притомились. Упрели».

– Татьяна-а-ана... До того горделива, зла на нас... Оборачивалась, глядела, как из глаз огонь швыряла... И штобы мы дотла сожглись в энтот огне, ешкин кот... А тут я щас буду ее мять, крутить... В тепленькой парашодной постельке, ешкин... Дрожим. Озверели. Водка все не кончацца, мать ее! А што, бутылку за борт выкидывать?! Бутылку ж нужно допить!

По последнему кругу пучили. Но мы уж и были хороши: нас вчерком – наливкой, целой четвертью – Агафон Шиндяйкин угостил... Он наливку туую у вдовы Гермогена с кухни украл... Когда попы поминки делали...

Дом Ипатьева молчал и дрожал. И все внутри Лямина дрожало противно, скользко.

Внутри ползали скользкие жабы и длинные ящерицы, высовывали раздвоенные языки. Перед ним из ночи вышел призрак Марии; Мария укоризненно, но не гневно, а тихо, печально глядела на него уплывающими во тьму глазами, и ее губы шевелились, ему показалось, он различил: «Что сделали вы с моими сестрами? Зачем?»

– Я Татьяну энту – там, в Губернаторском доме – завсегда подстерегал. Она идет, а я тут как тут, под ноги ей суюсь. Ух, и ненавидела она меня! Я ей, наверное, хуже жабы кажусь. А мене начхать, жаба я али какое чудище. А она – подо мной. А я – над ей! И энтот, слухай, Мишка, так сладко! энтот слаще всего, оказывацца!

– Даже слаще случки?

– Случка – што! Раз, и кончилася. А вот энтот, когда чуешь себя все время над ими – высоко над ими! Чуешь себя над царями – царем!.. Вот оно торжество-то игде... Вот счастье...

Скуластое лицо Люкина замаслилось, скулы блестели, глаза сочились пьяным соком, и масляный рот обнажал промасленные самогоном зубы, и масляные пальцы жирными рыбами двигались в темном прокуренном воздухе, плыли.

– Дочки кровопивца... Деспота... Вырастут и станут точно такими же... Ты погляди на старуху! Ведь она ведьма!

– Ты...

Слова кончились. Остался один слух, карточный, бесконечный.

– И вот стоим мы и думам: как же оно лучше вперецца-то в каюту? Как войти? Ворвацца? В воздух стрелять? Всех перебудим. Тайное дельце-то затеяли. Тихо вползти? Мол, штобы поглядеть, как они спят? По головам счесть? Растерялся. Опять переглядываюсь. Шляхтин весь колыхацца. Как в падучей. Руку на ручку положил. Ручка забавная. В

виде птичьей башки. То ли павлин, а то ли павлин. Орел! Царская, значитца, ручка. Медно, красно блестит в ночи... Кровь, Мишка, везде кро-о-о-овь...

Бормотал все тяжелей, все тише. Стискивал бутылку кулаками. Дышал в нее, как в чей-то чужой женский рот перед поцелуем.

– А паракход, едрить его, все идет... Тарактит... Машины скрежещут... Маслом машинным пахнет... Чую, горячо, жар там, внутри, в железном брюхе... Идет... Живет... А мы щас снасильничам этих девок, голубую кровь энту – и што?.. Они назавтра все – вот те крест – с палубы – в темную воду попрыгают... На дно, к ракам... Э-э-э, думашь, я спужался?! Да ништо! Никогда еще Сашка Люкин не пужался! И другим не советовал! Я руку Шляхтина... С медного орла – стряхнул... как крошку... И сам – руку... На энту ручку... положил...

Лямин уже слышал голос, будто сквозь печеную заслонку.

– И нажал... Повернул...

Лямин будто спал уже, а и не спал.

Глаза открыты, а разум улетел.

– Слышу: споят за мной... Войти хочут... Меня вперед толкают... Плечом напирают... Энто Куряшкин, плечом-то... И вдруго... Хлобысь!.. Валицца будто мешок с камнями... Бух на пол... И звон, трезвон... Бутылка по полу катицца... Пуста-а-ая... Я ничо не понимаю, а стрямко мене... Выгнул шею-то – а сзади... Шляхтин – без почуха свалился... И бутылка по паракходу катицца... Прочь...

Обоими кулаками крепко сжав, поднял бутылку и допил остатки. Глотал быстро и крупно. Пил, как воду в жару.

– Куряшкин меня – в скулу кулаком сунул: ну, ты... Войдешь?! Оттиснул от двери... Сам шагнул... И за порог сапогом зацепился... И тоже растянулся... ругается скверно, блядословит... Я ему – сапогом – на хребет наступил... Давлю: ты, хватит!.. Поигралась... Попрыгали в кроватках с царевнами...

И вдруг вскинул голову и громко, отчетливо, как и не опьянел в доску, прокричал, будто с трибуны – народу:

– В бога! Душу! Мать!

Голова Лямина отделилась от шеи и поплыла в мрачном прокуренном воздухе сама по себе. Смотрела на все сверху сизыми, цвета водки, глазами. Все наблюдала. Примечала.

Голова видела сама свой затылок, без дошедшей фуражки, мокрый от ужаса лоб, и как Сашка допивает водку и бутылка выпадает у него из рук стеклянным клубком и катится, а кошки нет, чтобы поймать; а где-то рядом, в комнатах, лежит этот мальчишка, истекает вечной кровью, а может, не лежит, а плывет, и вокруг него спасательные круги на стенах каюты, и скрипит зубами матрос Нагорный, скрипят винты в пазах, трещит обшивка, лягают железные кишки в трюме. И эти девочки. Они плачут, обнявшись, но так, чтобы никто не услышал.

– Шаги... Рядом... Командир... Он же не спал... На ветру – стоял... Так вашу так! Товарищ Родионов, виноват! Расстреляйте! Ты... Хрипит... Тащи его... За ноги... А он уже?.. Али ищо... А я ему: не знаю, товарищ командир... Откуда я знаю...

Ветки плыли мимо. Ночь плыла и плескала в лицо, охлаждала волной плывущую голову. Пьяным соловьем шелкало, заливалось сердце. Вот-вот тоже выйдет из груди, рассмеется и поплывет.

– Мы – пьяные... Пья-а-а-аные... Нам все прощают... Потому что мы-и-и-и... Пья-а-аные... И нет на нас управы... А зачем управа?.. Кто ее выдумал?.. Мы сами себе управа... И так отныне будет всегда... Во веки веков... Аминь!.. К лешему... Надрался я...

Икнул. Выблевал на стол ржаной шматок.

– Я оттащил... В угол... Сперва Шляхтина... Потом Куряшкина... А може, наоборот... А какая разница?.. Оттащил – и свалился на их... Сам упал... Командир меня обкостерил сверху донизу... Голосом – отхлестал... А я только вздрагивал... Блаженно... И засыпал...

Люкин упал носом в свою левотину. Поднял чугунную голову и стряхивал грязь ладошкой, как кот, умывался лапой.

– А утром... Што утром?.. Утро как утро... Обычное утро... Водичка под солнцем блестит... Весело идем, ходко... Чайки вьютца за кормой... Мы – винтовки вынули... пулеметы на палубу выкатили... и давай в птиц

стрелять!.. Охота же... Любо... Ну, любо... Мужики же мы... Али кто... Нам только дай пострелять... Хлебом не корми... Напугал я... К лешему-кикиморе!.. Прицеливался, в чайку попадал точно, в грудку ей... Она – падала... Крылья сложит и камнем вниз... В волны... А волны – трупик несут... Кричат они противно!.. Противные птицы!.. Гадкие!.. Из пулеметов – по чайкам... пли!.. Всех перестрелям!.. всех!.. Все-е-е-е-ех... И никто нам не указ... На виселицу нас тащите... на плаху... к стенке... А мы все равно – вас всех – перестреляем... вас!.. Кто посягает на нашу свободу... На нашу!.. Свобода... свобода...

Голова Лямина, ее уши внезапно услышали донесшееся из глубокой глубины, из дальней дали: «Эх, эх... без креста... Тра-та-та...»

...Это в Губернаторском доме, в зале, на маленькой нишей сцене, заезжий артист из Петрограда читал царям новомодные стихи. Как его пропустили к пленникам? А может, он шпион? Обыскали тщательно. Лямин сам обыскивал. Оружия нет при себе? А тайных писем? А режущих и колющих предметов? Правда, ничего нет? Ну, мы проверим.

– Эх, эх, без креста...

– Без какого... перста?..

Сашка Люкин окончательно уронил башку на стол. Щекой лежа на столе, бормотал последнее, бредовое:

– Дочки убийцы... Убийцы... Распять их... вытрепать... и убить... А ключ-то в замке трещит!.. Кто закрывает каюту?.. Кто приказал?.. Кто... На ночь?.. До утра?.. Но утро, утро уже... Утро... Утро...

За окнами светлело. Холодное снятое молоко майского рассвета лилось в комнату. Лямин выдыхал перегар и страх. Ему стало беспричинно весело. А голова? Опять приросла к шее, как ни в чем не бывало. Вернулась.

Только плицы, эти чертовы пароходные плицы, зачем они все шлепают по воде?

\* \* \*

– Начальник охраны Павел Еремин!

– Я.

– Отобрать у всех, у кого имеются, револьверы системы «наган»!

– Есть отобрать.

Еремин двинулся выполнять приказ.

Он его выполнил.

Револьверы он собирал в большой кожаный ягдташ.

Притащил их в комендантскую. Юровский, подняв плечи, будто мерз, стоял около рояля. На нем была неизменная тужурка, застегнутая на все до единой пуговицы.

– Холодно, – поежился Юровский, – на улице пятнадцать градусов.

– А разве это холодно? – удивился Еремин.

– Давай сюда наганы.

Юровский указал на письменный стол.

– Но тут же документы! Как бы не попортить, товарищ комендант.

– Тогда давай сюда.

Кивнул на рояль.

Господская игрушка, музыкальная забава. Тоже попортит, но кто об этом теперь думает! Пальчики великих княжон не будут бегать по черным, белым этим костяшкам.

– Павел. Ты все понял?

– Да. Все.

Еремин стоял – мрачнее только туча грозовая.

– Сегодня!

– Я понял.

– Сейчас! Скоро!

– Всех?

Голос Еремина железом царапнул по лицу, по груди Юровского.

– Да. Всех! Всю семью.

– А доктор? Слуги?

– Всех, я сказал.

– Понял.

– Пойди предупреди солдат, чтобы не паниковали, когда выстрелы раздадутся.

– Сказать, что будем расстреливать?

– Сказать, что это мы, мы будем стрелять. Охранник Стрекотин на посту?

– Так точно.

– Стрекотина – ко мне!

Еремин отлучился. Привел Стрекотина. Юровский кинул на приведенного быстрый взгляд.

– Ты ведь пулеметчик.

– Так точно, товарищ комендант.

– Ты все помнишь, о чем я тебе говорил?

- Так точно.
- Твой пулемет где?
- На окне стоит. Я при нем.
- Молодец. Ступай.

...Пулемет излучал холод. Андрей Стреко-тин стоял рядом с пулеметом навытяжку, как на параде. Напряженно слушал звуки Дома. Разные звуки, то хилые и слабые, то резкие и страшные. Он не мог сложить звуки воедино, кубики звуков распадались, и со дна меша-нины звуков вдруг поднялись и совсем ря-дом раздалися шаги. Человек быстро сбегал по лестнице. В руке зажат револьвер.

Еремину подбежал к Стрекотину и всунул ему револьвер в потную ладонь.

- Наган? Зачем? У меня ж пулемет.

Стрекотин заглянул в лицо Еремину. Зачем он это сделал!

- Расстрел... скоро.

Повернулся. Ушел. Стрекотин ошалело гля-дел Еремину вслед.

Быстро положил револьвер на подокон-ник. Пристально, долго на него смотрел.

Положил руку на пулемет. Потом другую. Обеими руками обнимал пулемет, как жен-щину.

Опять топот по лестнице. Еще идут. Ере-мин, Медведев и с ними Никулин. И Лямин. И за ними – люди. Высокие, широкоплечие, сивые. С холодными лицами. Среди них – та-кой же холоднолицый, да только малорослый. Сивые пряди лезут на глаза из-под фуражки. Меж собой говорят по-чужому.

Стрекотин считает людей: пять, шесть, семь, восемь. Никулин отворяет дверь ком-наты, около которой Стрекотин обнимает пу-лемет. Комната, что в ней? Пустая. Латыши, Еремин, Никулин, Лямин и Медведев входят в нее и плотно закрывают дверь за собой. Стой, сиротливый Стрекотин, обнимай пуле-мет. У каждого этого сивого коня в руке – на-ган.

Облизнуть сухие губы. Водки бы выпить!

Не водки – воды. Целый жбан.

Пить и пить, пока не лопнешь.

Дверь наверху хлопнула, а Стрекотин так вздрогнул, будто – в него выстрелили.

...Латыши осматривались в подвальной комнате. Мало места. Наползает друг на дружку стены. Гром сапог поутих. Кто-то сел на пол. Курить тут комендант запретил.

У всех латышей были имена: Ян, Витольд, Генрих и еще такие же заковыристые для русского слуха; и они окликали друг друга по именам. Лишь одного почему-то кликали прозвищем, по-русски: Латыш.

Все рослые, а этот плюгавый. Недорослый, и слишком тощий. Такая тощая маленькая собака, до старости щенок. Шея вытянутая и хрупкая, как у девчонки. А руки неожиданно, устрашающе большие и сильные. Такие руки – быка задушат. Зло просвечивало во всем его остром, испитом лице, в сивых жир-ных прядях, торчащих из-под обода фуражки; он наводил неясный страх. Белые пряди, буд-то седые. А может, и поседел; мудрено, видя столько смертей и самому убивая, остаться молодым и веселым.

Беловолосый, четкий, жесткий. Рослые – к нему, малявке, оборачивались и перед ним вытягивались, как перед командиром.

Латыши перекинулись парой слов и замол-чали. Револьверы нагие, у них в руках. Толь-ко у Латыша на боку, в кобуре. Огромные руки стащили с головы фуражку, растерли шею и пригладили, прилизали белые спутан-ные волосенки.

Латыш обвел всех белыми глазами. Улыб-нулся щербато. Длинные зубы, длинные и резцы, и клыки. Веснушки на птичьем носу-клюве собрались в грязный комок.

- Что примолкли? Бойтесь?

Стрелок, сидевший на полу, покачал головой.

- Разве можно так спрашивать. Глупый ты.

– А я никогда и не был умным, – блеснул глазами Латыш.

Так в забое мигает свет шахтерского фо-наря.

– Какая пустая комната! – воскликнул молодой латыш, держа наган на раскрытой ладони, как мертвую черную птицу. – Все вещи, что ли, отсюда вынесли?

Сидящий стрелок рассматривал револь-вер у себя в руках.

– Хорошее оружие. Как у нас его много! Мы победим.



Латыш усмехнулся, а сидящий отвернулся, чтобы не видеть его усмешку.

– Ты в этом уверен, Роберт?

– Вот расстреляем сейчас русских владык, и все как по маслу пойдет.

Латыш прищурился.

– Как по маслу? А масло не прогоркло?

– Что за разговоры, – вмешался длинный, журавлем стоявший на смешно вытянутых ногах, до потолка головой достающий чекист. – Не сейте в публике панику.

Хрипло засмеялся.

– Эх, жаль, нельзя курить.

– В публике? В палачах, ты хочешь сказать?

Молчание обхватило всех крепко, как после разлуки. Губы на крючок, зубы на замок.

И молчали, темно и страшно, уже все: и Латыш, и Роберт, и длинный журавль, и все эти рослые крепкие люди, заброшенные в чужую страну, большую и странную, для того, чтобы ее ненавидеть, вспахать, убить и перекрыть.

И чтобы никто никогда не узнал, что тут была Россия; это будет иное государство, с иной властью и иными, лучшими и чистейшими, людьми.

А может, власть будет другая, а люди все те же: подлецы, предатели.

...Старуха приподнялась на локте и нежно смотрела на лицо спящего мужа. Он спал крепко и сладко. Быстро засыпал, как всегда, а если разбудить – по-военному быстро открывал глаза и стремглав вскакивал с постели. И первым криком всегда было: «Солнце мое! Ну что, проспали? С добрым утром!» До утра далеко.

И далеко, очень далеко отсюда стреляют; это артиллерия. Скорее бы. Скорей.

Легла навзничь на тощую подушку, а сон не шел. Может, и не придет сегодня. У нее часто бессонница.

За слепым стеклом окна затарахтела машина. Тяжелый грохот; видать, грузовая. Может, это им дрова привезли? Лето уральское странное: то жара, то холода, а ведь осень грядет. Через месяц-полтора здесь, говорят, уже первые заморозки.

Сердце билось ровно, но странные боли вот здесь, в подреберье. Как доктор Боткин говорит: шалит верхушка. Почему верхушка у сердца – внизу? Когда она сдавала экзамены на сестру милосердия, она досконально изучила книгу Дмитрия Зернова «Анатомия человека». Она все прекрасно помнила: правое предсердие, левое, правый и левый желудочки. Желудочковая аритмия самая опасная. Фибрилляция предсердий – с ней еще можно жить. Но, как смешно говорит ее Ники, мужлан и солдафон, хрен редьки не слаще.

Улыбка сморщила губы. Милый! Как он спит. Как сын на него похож.

Легкие, лепестки в тысяче кровавых пузырьков, полные воздухом. Трубка трахеи, бальные роскошные веера бронхов. Бронхит – это вылечивается, а бронхоаденит – не всегда. Она перевернулась на живот. Постель грела слишком сильно и странно, она лежала как на углях. Опять легла на спину. Пружины трещали. Суставы, сочленения костей, двуглавая мышца бедра, бицепсы и трицепсы. Любимый так прекрасно всегда занимался гимнастикой. Ему из Лондона братец Георг присылал список упражнений с рисунками. И он повторял рисунки точь-в-точь. Мышцы под любимой кожей! Как она покрывала их поцелуями, все, всюду, эти ноги, руки, эту сильную, загорелую на северных ветрах спину.

Да, что у человека внутри? Где прячется душа? Где она живет, маленькая, милая, жалкая?

Она большая, она размером с небо; просто она вмещается в нас, а те, в ком она внезапно умирает, не могут ее отыскать. И превращаются в вурдалаков.

Кожа и кости, нервы и мясо. Раненые в ее госпиталях, как стонали они на койках своих. И она подходила и клала им руку на лоб, и они просили ее: вот так подержи, сестричка. Сестричка! Они не знали, что она – царица. И ей было все равно. Ей даже радостно было, что они этого не знали. Не все человеку надо знать. Вот никто не знает часа своего; и это правильно.

Забинтовать рану. Наложить сначала марлю, пропитанную спиртовым раствором, по-

том вату, потом обмотать стерильным бинтом. Витки бинта ложатся, эта белая живая спираль вьется, успокаивает. Это как гипноз. Большой верит, что он выздоровеет; а ты веришь в то, что вылечишь его.

А ты помнишь, как они умирали? В тех твоих палатах бессонных, слишком чистых, тобой же и вымытых, – помнишь?

Стонали. Выгибались. Кусали, рвали зубами простыни. Орала, не стерпя мучений. Хрипели. Отходили. Ты садилась к изголовью, брала уже покрытые липким чужим потом руки, отирала мокрые виски. Шептала: «Да примет Господь с миром чистую, безгрешную душу твою». Ты сама им грехи отпускала. Священник уже не успевал, да и не успел бы. Эти смерти приходили внезапно, их нельзя было уследить, рассчитывать. И ты была одна за всех. За батюшку. За врача. За сиделку. За мать, – ее умирающий звал искусанным, вспухшим, запекшимся ртом.

Мама! Мама! Ты где! Мне больно!

Я тут, шептала ты, я тут.

И наклонялась, и целовала умирающего бойца так, как целовала живого, любимого Ники.

Ники, прости мне! Я их всех целовала. Но я же целовала их души! Предсердия и желудочки упускали ритм, а душа-то жила, и она все видела и радовалась: вот он, последний поцелуй, последняя чистая любовь.

А ей кто-то даст такой последний поцелуй, когда она будет умирать? Кто? Ники? Дети?

Нельзя об этом думать. Воображать, где и как ты умрешь. Это запрещено. Verboten.

Муж простонал во сне. Она провела ладонью по его лбу. Боже, и он вспотел. Кто так щедро натопил печь? Теперь, летом? Эта кухонная баба, Прасковья? Но почему ее вдруг трясет, будто в лихорадке, в инфлюэнце, и больно и трудно глотать, и бежит к ней ее вечная мигрень, вот она, боль, рядом, и дня без нее не прожила, соскучилась!

Старуха положила руку себе на лоб. Закрывает глаза. Мы не знаем, отчего глаза видят, а уши слышат; тело – такая же загадка, как и душа, и жизнь – загадка, и время – загадка. Что там будет с нами после смерти? Господи, Ты один о том знаешь.

Опять грозно зарычал мотор и смолк. Во дворе не спали. Ну, у них, у охранных, свое хозяйство. Они их, убивая и мучая, берегут. Это так трудно совместить.

...Ермаков, со всклокоченными адскими волосами и взглядом обезумевшего от одиночества филина, глядел сквозь стекло кабины грузовика. Подъехали к Дому. Окна горят в первом этаже. Во втором – темень, спят.

– Кто идет! – задавленно крикнул у ворот караульный.

Ермаков грубо распахнул дверцу.

– Трубочист!

Караульный загремел цепями и задвигалми и открыл ворота.

– Въезжай!

Шофер подрулил к темной стене, мотор встал.

– Выходи, – сказал Ермаков шоферу тихо и жестко, – иди прочь и не оглядывайся.

Шофер, смерив Ермакова потрясенным взглядом, вывалился из кабины, как куль с мякиной. Потрусил к воротам. Исчез за ними.

Ермаков выпрыгнул из кабины и подошел к кузову.

– Эй ты! – Задрал патлатую башку. – Кудрин! Ты тут жив или нет!

– Жив.

Через борт кузова перекинул ногу человек. Ловко спрыгнул на землю, присел, спружинив ногами.

– Вот он я.

– Как настроение?

Ермаков жег Кудрина зрачками.

– Боевое. Какое ж еще.

– Это славно. У меня тоже!

Оба враз хлопнули друг друга по плечам.

– Сегодня великая ночь. О ней потом напишут в учебниках истории. Наши дети и внуки будут про эту ночь читать. А мы с тобой, ха, ее делаем. Вот этими руками.

– Да. Этими.

Кудрин поглядел на свои руки. Руки как руки. Плоские живые лопаты.

– Чур, царь мой, – сказал Ермаков.

Воздух со свистом выходил сквозь его зубы и ощеренный рот.

Одинокие шаги стихли, и послышался опять хор шагов. И хор голосов.

Они шли и переговаривались меж собой – тихо, по-ночному. Кто по-русски, а кто и по-тарабарскому.

Никулин сел на пол кладовой. Рядом с ним тускло светился кирпично-темной медью батшовский самовар. На бок самовара падал луч света из дверной щели. Никулин пощелкал ногтем по погнутой старой меди, испещренной ямками и клеймами.

– Ишь ты... с медалями... тульский...

– А вот на Урал залетел.

Павел Медведев тоже звонко щелкнул ногтем по медному выгибу.

– Эй, кончайте стучать.

Кабанов сделал грозное лицо. Никулин поглядел самовар, как кота.

– Да ладно тебе.

Лямин и Сашка стояли у двери. Не сядились ни на пол, ни на старые стулья и кресла. Иные стулья были перевернуты, ножки торчали вверх.

«Это не стулья. Это мертвые козы, свиньи, лошади. Телята. Валяются. Это мы их убили».

Латыш шагнул к Лямину и сказал, вроде как не Лямину, вроде в пространство:

– Там перегородка деревянная. Хорошо.

Не будут пули отскакивать.

Лямин глядел ему в лицо, не понимая ни слова.

Латыш ухмыльнулся и стал еще противнее.

– Рикошетов не будет.

Лямин сделал вид, что не понял, хотя теперь он понял все.

Латыш говорил по-русски с ужасающим акцентом.

...Заспанный Люханов, потирая лоб кулаком, бесслышно, осторожным кошачьим шагом шел по двору к грузовику.

...Они шли – так идет вокруг церкви крестным ходом.

Впереди шел царь. Он нес Алексея на руках. Царь в гимнастерке, и сын тоже. На головах военные фуражки. Мальчик так любил

военную одежду. Он воображал себя полковником, подобно отцу; и все свое детство проиграл в войну, в солдатика.

Два оживших солдатика из его старинной царской игры. Оба в военной болотной амуниции, оба воины. Но зачем они так смиренно идут? Воин должен сражаться.

О, иногда воин и молится. Например, перед дальней дорогой.

Или перед тяжелым боем.

Аликс и девочки – что они могли надеть спросонья? Только платья, без кофт, жакетов и плащей; их же никуда не везли, им просто приказали перейти в нижнюю комнату, и все.

– Евгений Сергеич, я не поняла, что сказал комендант?

– Он сказал, что всем нам надлежит сфотографироваться. На всякий случай, ваше величество. Мало ли что.

От этого «мало ли» у нее заалели щеки. Царь обернулся и даже в тусклом коридорном свете увидел эту краску на щеках.

Из-за плеча сына послал жене ласковый взгляд.

Взглядом можно погладить и воскресить, а можно и убить.

– Солнце, тебе не тяжело?

– Папа, я сам пойду! – возмущенно и громко сказал Алексей.

Царь плотнее прижал к груди сына.

Они спустились по лестнице и вышли во двор. Тата глубоко вдохнула свежий летний воздух.

– У меня легкие, наверное, стали на тряпки похожи... Я хочу плавать, купаться...

– И я!

Анастасия задрала голову и смотрела на звезды.

Мария смотрела в лицо Ольге. Ольга молчала. Мария поглядела на мать. Она шла рядом с ними, с матерью и старшей сестрой.

– Какие крупные звезды, – беззвучно сказала Мария. – Какая ночь.

– Эти звезды на миг, – так же неслышно отозвалась Ольга.

Мать шла между ними и молчала. Они обе слышали только ее дыхание. И обе, с разных сторон, смотрели на ее профиль, тонкий, светлый, намалеванный чьей-то безумно

влюбленной кистью на старой доске, истевающей за старым шкапом, за занавесями паутины.

Открылась дверь в нижний этаж. Они переступили порог.

Царь и цесаревич, Тата, Настя, Ольга, царица, Мария, Боткин, девица Демидова, повар Иван Харитонов, лакей Трупп. Все несли в руках подушечки, любимые вещицы; подушки – чтобы сесть мягче, голые стулья холодят зад и хребет, а безделушки – чтобы с ними навек сфотографироваться. Мария вошла последней и закрыла за собой дверь.

\* \* \*

Юровский обернулся через плечо.

Крикнул:

– Входи!

А они все уже и так вошли.

«Латыши первые. Зачем латыши? И этот, плугавый, вон он, в первых рядах».

Он видел его затылок. Его плохо выбритую шею под черной фуражкой. Сивые волосы торчали, как жесткая конская грива.

– Мотор как тарыхтит, – пробормотал Сашка.

Латыши стоят в комнате. Никулин, Медведев и Кудрин – в дверях.

За ними – Лямин и Люкин.

Вперед протолкался Ермаков. У него было глиняное лицо.

Встал рядом с Юровским. Вплотную.

Ермаков ощущал, как Юровский дрожит. Очень мелко, будто стоит в трюме корабля, а вокруг вибрируют машины: ходят рычаги, крутятся колеса и шестерни.

Машина работает, грохочет, лязгает, колеса вращаются, шестерни зацепляют зубьями плотный, промасленный воздух, черную гарь. Лязг и вздрог. Лязг и стук. Лязг и вопль.

Железо бьет о железо, машина работает, она запущена, и ее не остановить.

Наган в руке Лямина превратился в мертвый сгусток. Он состоял не из стали. Из косяной, навек умершей материи, имени которой на земле не слышали.

...Лямин едва дышал. А ему казалось он дышит хрипло, громко, оглушительно, на

весь ртом подвслухать, на весь дом, – он лопал воздух и все никак не мог поймать, воздух утекал и ускользал у него из ноздрей, из губ, у него голова перестала рождать мысли, а вместо головы что-то такое тяжелое, горячее, черное стало думать внутри него: может, это было голодное чрево, а может, сердце или то, что еще осталось, застряло у него меж ребер вместо сердца, – он не знал. Это черное и тяжелое, и пылающее головней, этот странный черно-красный, горячий сгусток думал вспышками боли, и эти вспышки странно слагались в отрывочные, разорванные, оторванные от прежней жизни слова.

Боль. Скоро. Подлые. Нет. Пуля. Прежде. Уйти. Убежать. Убить. Кого? Здесь. Везде. Всегда. Зачем? Надо. Горько. Ложь. Правда. Будет? Было! Есть. Да. Нет!

Нутро взорвалось и закричало: нет! – и Лямин чуть приподнял над ногой наган, ствол его был как живой, он вертелся сам по себе и вздрагивал сам, Лямин обернулся, и навстречу ему из тьмы полетело странно яркое, красно горящее, и вместе с тем черное, угольное, лицо Юровского.

Дыханья двенадцати смешались.

Людская машина работала не хуже железной.

Жила, дышала, двигалась.

Шестерни и рычаги. Руки и головы. И ноги, ноги.

В сапогах.

Юровский шагнул вперед.

Правая его рука уткнулась и утонула в кармане брюк. В левой он держал бумагу.

Бумага мелко дрожала.

Лямин услышал скрип половицы под его сапогом.

«Будто чайка над рекой прокричала».

– Ввиду того, что ваши родственники продолжают наступление на Советскую Россию, Уралсовет постановил вас расстрелять!

Николай стоял лицом к этим вошедшим в комнату, черно-кожаным людям.

Он даже не успел рассмотреть и осознать, что у них в руках – револьверы.

Зато Александра рассмотрела.

И – не дрогнула ни лицевой мышцей, ни кожей, ни пальцами. Дышать чаще не стала.

Только сердце, голубь, взлетело и ухнуло куда-то в синюю жаркую бездну.

...Это Ной выпустил из ковчега голубя на землю.

...Повернулся к чекистам спиной. Глядел на всю семью свою, любимую.

...Глаза Ольги, честные, печальные.

...Затылок сына. Как спокойно мальчик сидит! Не шелохнется.

...Тата, руки в кулаки сжала. Детка! Держись!

...Настя напугана. Кажется, она поняла.

...му Sunny, а ты?

...Глаза Маши. Машка! Вот и все.

...Юровский, читая эти слова, а он их все уже выучил наизусть, не дрогнул ни умом, ни душой, ни телом, ничем; он здесь, в подвале, был странно заморожен – будто мороженая рыба, будто твердое бревно огромного осетра зимой, у проруби, убитого багром по голове осетра. И вот этот мерзлый осетр внезапно воскрес, и умеет читать, и потешно стоит стоймя, и держит в плавниках важную бумагу, и читает по бумаге, шевеля круглым усатым ртом, приговор этим людям – отжившим свое, отпавшим свое на золотых балах, никчемным людям. Да хватит, – одергивал он себя, читая приговор, – да люди ли они? это они – люди? это он – человек, проклятый царь, уничтоживший столько народу в своих войнах, на виселицах и в застенках, это она-то – человек, гадкая царица, она путалась с Распутиным, путалась с кем угодно, она продавала и предавала, и это ей – на свете жить? нет, ей – не надо, ей на свете, этакой гадине, жить – запрещено! И читал дальше, и дочитал до конца, а когда настала тишина, он почему-то подумал про цесаревен: и эти, эти – тоже нелюди, жрали и пили с золота, дрыхли на серебре, выдали бы их замуж за иноземных царей-королей, и они так же, как все ее предки, мордовали бы, истязали, изводили, убивали народ. Свой? Чужой? Все равно. Все равно? Нет, этого нельзя. Этого нельзя, – шептал он сам себе, – нельзя никогда этого допустить, мы

лучше убьем их всех здесь и сейчас, здесь и сейчас. И делу конец. Ай, молодец. Это я молодец.

Часы тикали в тишине. Серьги с поддельными алмазами и броши с поддельными сапфирами сверкали в тишине. Коричневые, как крепко заваренный чай, фотографии с вьетками красовались в витрине ателье в тишине. Лекарство капало в мензурку в тишине. Хирургические скальпели блестели в тишине. Страницы великих книг про революцию, кровь и слезы шуршали в тишине. Патроны падали в магазин маузера в тишине.

Вся его жизнь прошла в тишине, а вот теперь можно и погрохотать.

Он слушал тишину и радовался: они, гады, услышали, они все поняли. Они готовятся.

Он стал искать глазами лицо царя, а когда нашел, стал искать его глаза, – и нашел глаза, и воткнул в них свои глаза, нет, он не пытался его испугать или пригвоздить глазами, сейчас это за него успешно и быстро сделают пули, – он просто хотел поглядеть глубоко, очень глубоко в глаза человеку, которого он сейчас убьет, вот сейчас, сей момент, а этот человек был самым первым человеком в России и одним из первых в мире – еще вчера.

Алик головы не повернула. Смотрела вперед, прямо перед собой.

Повернулся сын.

Он повернулся всем корпусом на этом неудобном, жестком стуле и поглядел на отца.

Отцу в лицо. В глаза.

Ловил его глаза.

И не поймал. Царь сделал шаг назад и опять встал лицом к Юровскому, латышам и солдатам.

Голос вылетел из него птицей, птица ударила грудью сначала об одну стену, потом о другую, потом о потолок.

– Что? Что?!

Лицо Ермакова перекосилось.

– Читай еще раз. Внятно! Не услышали!

Юровский приблизил к лицу бумагу. Он наизусть знал написанное там.

Он хотел заслонить этой бумагой лицо, потому что лицо вдруг стало страшным, и он

знал, что оно – страшно. И хотел его закрыть, спрятать, чтобы не видели и не ужасались другие.

Пока еще живые.

– Ваша родня продолжает наступать на молодую Советскую республику! И Урали-сполком! Постановил! Расстрелять... вас!

Царь развел руками и опять повернулся к семье.

– Как? Зачем?!

Кажется, это крикнула Нюта Демидова.

Цесаревич не кричал. Но крепче сжал губы. Но весь странно потянулся, вытянулся, будто хотел встать и не мог. А может, он и вправду не мог.

– Не верю!

Это крикнула Тата.

– Боже... Я так и знал...

Доктор Боткин.

– Папа!

Настя.

– Не может быть.

Ольга.

– Мама, родная... Это неправда...

Маша.

Аликс подняла к нему лицо.

Он увидел ее глаза.

У них обоих были глаза похожи: у нее водяные, речные и без дна, и у него тоже.

Юровский обернулся к стрелкам и крикнул задушенно:

– Готовься!

*...Царь глядел в лицо Юровскому, и он не узнавал это лицо, напротив него стоял не человек, а странная, дикая, черно-красная масса, красный рот двигался, черная куртка дергалась и шевелилась, и царь подумал страшно и быстро: вот и все, – но человеческое тесто напротив вздувалось и вспучивалось, и он еще успевал думать сразу обо всем, обо всей своей жизни, обо всех родных и любимых, обо всей стране, обо всей земле, он обнимал все это последней смертной думой – и хотел молиться, но вместо этого сам обратился в молитву; он стал молитвой, стал словами, что тысячу, сотни тысяч и бесчисленно раз повторяли людские губы, ими, этими словами, бессильно пла-*

*кали людские сердца, и так хорошо ему было быть молитвой, так сладко и чисто, понастоящему чисто и правильно, праведно, – и он еще успевал поблагодарить за это чудо, но кого, теперь уж он не знал, потому что в нем, в молитве, которою он стал, таких слов не было; и он молитвой вис в воздухе, растворялся, тек, истаявал, застывал прежде горячим, а теперь зимним свечным воском.*

*И он, вернее, то, чем он стал сейчас, молитва, – он достиг, пламенея и застывая, рта, губ жены, достиг ее яремной теплой ямки и нательного креста в ней; и она шептала молитву, шептала бессвязно, торопливо, и горячей слезной молитвой, самим собой, всем собою, он целовал напоследок эти любимые, морщинистые губы.*

– Господи!

Царь сжал кулаки.

Александра подняла руку. Она хотела коснуться руки царя, но не коснулась.

Улетала, плакала голубка.

– Прости им, ибо...

По глазам цесаревича словно ударила молния, и он зажмурился.

– Не ведают, что творят...

Юровский вырвал кольт из кобуры. Вскинул руку и прицелился в царя.

Пуля ушла сразу.

Царь слишком близко стоял. Не попасть было бы смешно.

Царь пошатнулся и стал падать.

«Как все просто. Боже! Как же все просто у Тебя!»

Все стали стрелять. В комнате раздался грохот, и она стала заволакиваться сизым дымом.

Ермаков сделал к царю огромный шаг. Его рот превратился в пасть, и она, кривая и косая, неожиданно заняла все лицо; поглядеть – так смеется человек вздохлб.

Ермаков тоже выстрелил в царя. В упор. Когда он уже падал.

За сутулым плечом кособокого Ермакова стоял Михаил Кудрин.

И он тоже выпускал пули в царя. Из старого браунинга. Одну, вторую.



Царь лежал на полу. Из его ран текла кровь.

Лямин понял: они тут все, все до единого, сперва стреляли в царя.

Так много ран. Много крови.

«Юровский же просил, приказывал: чтобы крови не было!»

Приказ не исполнен. Все стрелки палили в одного человека.

...Может быть, и хорошо; сразу умер; счастье ему.

*...И царица повторяла, все повторяла слова молитвы, и забывала их, и ужасалась этому; она внезапно все забыла, и себя маленькую, в пеленках и распашонках, и себя – невесту, и себя – в родах, и себя – с лицом в морщинах, с опухшими до колен ногами – в этом тряском возке, едущем по ледяной весенней Сибири; она помнила только одно – дети тут, Бэби тут, и разве это возможно, чтобы их убили? Нет! Это же никак невозможно! Этого не может быть никогда! Это кто-то страшный, черный, красный, криволицый, придумал, и напрасно он наводит наган, и зачем эти ружья, эти штыки, это и не штыки во все, а елочные игрушки блестят; опять вернулось Рождество, опять Новый год, но какое же это отменяют новолетие? – она уже не знает, она забыла; и она разлепила губы, чтобы сказать мужу: родной, я забыла все, все, помоги мне все вспомнить! – и случайно, быстро опустила глаза вниз, и увидела царя, смиренно лежащего на полу без движенья; и она повела глазами вбок и увидела сына – он лежал рядом с недвижимым отцом, но он двигался, он шевелился, о счастье, он был жив! Жив!*

*Мой Бэби жив! Мой Бэби жив! Мой Бэби жив! – кричала она молча, вздохнув, сама себе, беззвучно, без глотки и рта, – и ее сын услышал ее, а может, и увидел – высоко над собой, крупную, страшную, тяжелую, большую, охотником подбитую птицу, – не мать, не царицу, а древнюю, источенную ветрами гору, – уже такую далекую, что не добросить снежком, не достать слабой, в синяках, больною рукой.*

...Царица хотела наложить на себя крест, рука поднялась. Опять взмыла!

Пуля опередила знамение.

Ольга тоже хотела перекреститься. И не успела тоже.

Кто выстрелил в Ольгу? Никулин?

Кто выстрелил в царицу? Юровский? А может, Ермаков?

У Юровского на поясе висели две кобуры.

«Два револьвера, второй выхватил и паит».

Один у него кольт, другой Лямин не помнил какой; вроде не револьвер, а пистолет, маузер.

Мишка видел, как сначала побелело досиня, потом высветилось изнутри запрокинутое лицо старухи. Как быстро она умирала! Все. Умерла. Грудь не поднималась. Не дышит.

Павел Медведев подшагнул ближе, вот уже вошел в комнату из дверного проема.

Все они палили враз. Вразнойбой. Косо, криво. Пули все равно прямо летят.

Палили. Палили теперь уже мощно, зло, как придется.

Чем гуще, тем лучше. Яростнее.

Скорей бы. Скорей убить. Чтобы эти глаза на тебя не смотрели.

Миг один – а запомнится на всю жизнь. Эти глаза девушек. И как они глядят на тебя, и как ты стреляешь им в лицо.

...Вот этих глаз боялись те, кто положил револьверы на пол к сапогам Юровского.

...Что Юровский сделает потом с ними, с теми, кто отказался? Убьет?

...Да их уже убили, голову на отсечение. Они и до постов своих не дошли. И на улице не покурили.

...Да кому они нужны. Кому мы все нужны.

Их было тут три ряда расстрельщиков.

Сначала стоял первый ряд. Ермаков. Юровский. Никулин. Медведев. Латыш плюгавый.

За ними – еще латыши, Кабанов.

За ними – Лямин, Люкин и Кудрин.

Руки. Руки, держащие револьверы. Руки стреляют, револьверы содрогаются. Руки обжигает выстрел того, кто стоит сзади. Руки в ожогах, пули уходят и уходят.

Комната маленькая. Одиннадцать человек в ней, и их расстреливают, палачи близко от жертв, жертвы глядят в лица палачам. Не спрячешься.

Руки черными живыми палками высовываются из двустворчатой двери.

Из рук – в живых – летит смерть, и живые становятся мертвыми.

Не сразу.

Грохот выстрелов. Частокол рук и оружия.

Это казнь, и она проста и страшна.

Так надо.

«Так надо, ведь мы боремся за наше светлое, светлое будущее! За коммунизм!»

Медведев палил и держался рукой за шею. Отнял руку от шеи.

Лямин увидел у него на шее красное пятно. «Ожог. Хорошо, что самого не стрельнули».

Пули отскакивали от тел и рассыпались по комнате. Прыгали, как градины в грозу.

...Цесаревич глядел на мир снизу вверх, и мир ему казался теперь очень большим, странно большим, все было увеличено во много раз, и еще раздувалось, пухло, росло на глазах. Лица людей походили на воздушные шары, и надувались еще и еще, вот-вот лопнут, волосы их вились змеями и червями, в руках эти огромные дикие люди держали узкие, длинные сколы льда, и эти сколы остро, снежно блестя во тьме. А тьма все густела, и комната становилась не комнатой, а громадным сундуком, и внутри сундука были не только они все, но и драгоценности всего мира, что его сестры так старательно зашивали в рубахи и корсеты. И мальчик хотел протянуть руки, поднять их над головой и упереться ладонями в крышку сундука, чтобы открыть ее, чтобы впустить воздух в эту тьму и духоту, и чтобы они все немедленно вылезли из этого страшного дымного ящика, поглядели друг на друга и рассмеялись: что это такое с нами было! что это случилось! ты знаешь, darling? а ты? а ты? а ты?

И – никто не знал, никто бы ему не ответил, и он это вдруг понял – и стало все горько, горько стало во рту и горько в желедке, и горько в голове, и горько вокруг него, в самом воздухе; трудно было дышать горечью, но он все-таки дышал, а потом в горечь ворвалась невыносимая боль, и он хотел вытолкнуть из себя боль и горечь в одном сильном крике, но не

мог. Он даже не смог набрать в грудь воздуха, чтобы закричать.

Скосил глаза и рядом со щекой своей увидел чью-то ногу в белом башмачке и окровавленном белом чулке, и понял – это сестра, но кто? Настя? Тата? Оля? Маша?

Машка, это Машка, это твой туфелек, я узнал, лепетал он уже не губами, а болью, он весь превратился в боль, он перестал быть а боль – была, и нога Марии рядом, в этом белом чулке в красных пятнах и белом узком башмаке, тоже – была.

...Мальчик лежал на полу. Он шевелил головой и рукой.

Он был жив.

Что он говорил?

«Боже! Он что-то говорит. Он живой! Черти! Пристрелите! Застрелите его!»

Нюта Демидова истошно кричала.

В нее стреляли, а она защищала грудь, голову и живот подушкой; и пули застревали в подушке, и попадали в нее, и она вопила и визжала и обливалась кровью, и все равно выставляла вперед эту подушку, последнюю надежду, щит последний.

Почему так скажут, как полоумные, пули?!

– Ай! Яй! Спасите! Люди! Люди!

«Мы не люди, мы кто-то другие».

Думал о них, о себе холодно, железно.

Повернул голову, глаза бегали, плыли и путались зрачками в сизом, как табачном, дыму – и увидел Марию.

Жива. Она еще жива.

Она стоит у стены. Раскинула руки.

Будто собой, телом защищает – то, что за стеной.

А что за стеной? Пустота?

«Она представитель старого мира! Чудовище! Она дочь чудовища!»

«Это ты чудовище. Ты чудовище сам».

Мария смотрит на свою лежащую на полу мертвую мать, и ее рот приоткрыт. Она не понимает, все еще не понимает, что с ней и что со всеми ними. Она хрипло дышит, у нее прострелены легкие, может, навывлет, пули застряли в ее нежном теле, и то, что он так звал и вожделем, оказалось просто мясом,

просто – мышцами, кожей и хрящами, и костями, и сукровицей.

«Кровь. У нее вовсе не голубая кровь. Она не цесаревна!»

«У них у всех кровь красная. Как у всех людей».

– Спасите! На помощь!

Это кричит она? Кого она зовет?

«Боже! Она зовет меня!»

...Мария стала огромной дырой в ветхой, в тонкокрылой ткани, и ткань расплзалась, дыра становилась все больше, все огромней, смотрела непроглядной чернотой, и чернота эта была она, Мария, и ветхие края старой ткани была тоже она. А потом оказалось так, что эта черная огромная дыра на самом деле была ее рот, криво распяленный, раззявленный в утробном, неистовом, как в родах, крике; что-то рождалось, выходило из нее, наверное, душа, а может, она сама уходила, проваливалась в эту дыру, и сама черным орущим ртом смеялась над собой, и редела, и рвалась, все рвалась и разлезалась, трещала по швам и расходилась в стороны.

И дыра, вернее, то, чем стала она сама, крикнуло: «На помощь! Помогите!» – но никто не бежал на помощь, и не шел, и не полз, а только ползли по полу чьи-то красные руки, цеплялись за половицы, крючились, волоклись в дыму, пытаясь встать, чьи-то ноги, все в красном, мокром, липком. И тот ор, тот крик, переставший быть великой княжной Марией Николаевной, девочкой Машкой, – синие глаза, дулевские чайные блюдца, крепкие, широкие и теплые руки и плечи, богатырша и хохотушка, озорная полковница Девятого драгунского Казанского полка, оборвался на высокой ноте, и все, что было жизнью, что дрожало наяву и являлось во сне, медленно повернулось задом, и зад этот был голый, уродливый, страшный, адский, затянутый дымом и руганью, занавешенный звоном пуль и треском затворов, и зад этот, позорный и похабный, истертый задник жизни, был самой настоящей смертью, – и чернел на глазах, быстро и

беспощадно превращаясь в уголь, в золу, в ничто.

И вместо сатанинского зада вдруг явилось лицо; и лицо это было плюгавое, бледное, русое мочало волос свисало с висков, рот щерился, лисий нос нюхал дымный, пороховой воздух, рот шевелился во тьме, – лицо глядело в черную дыру, и лицо выражало открытую, на ветру горящую ненависть, довольство, будто кусок вкусного горячего пирога зубы откусили, и решение доделать поганое, но верное дело до конца.

...Растолкать всех. Разбросать и задних, и передних. Выбежать перед всеми.

Подбежать к стене.

...Ее – на руки. Ногой разбить стекло окна.

Выскочить: земля рядом.

Земля. Воздух. Ночь.

...Давай. Вперед. Она еще жива.

Ольга сползла спиной по стене. Держала в руках подушку. По рукам текла кровь.

Ольга смотрела на свою кровь, и глаза ее останавливались.

Медленно, тускло, – так гаснет керосиновая лампа, когда прикручивают фитиль.

– Мама... Мама...

Цесаревич лежал рядом с отцом и с матерью. Он опять пошевелился.

Стрелки палили. Пули рикошетили.

Русские бойцы исходили хриплыми матами. Латыши стреляли молча.

...Доктор Боткин лежал ничком. Голову повернул и лежал на щеке, будто на диване прикорнул.

Лакей Трупп мертв. Повар Харитонов мертв.

Лежат, задрав подбородки; в потолок мертвыми глазами глядят, как в небо.

Как орет девица Демидова! Не смолкая!

Пули летают от стены к стене. Над головами. Пули живые. А люди мертвые.

Демидова испустила дикий визг и метнулась от стены к стене. Как пуля.

Ударилась всем телом о стену. Рухнула. В поднятых руках – подушка.

«Она этой подушкой от смерти не заслонится!»

В подушку палили пули. Вонзались в нее. И подушка ожила. Стала живой плотью. Подушка стала человеком, а человек превратился в орущую подушку.

Это подушка летала по комнате, и в ней застревала медная смерть.

Стрелки ополоумели. Они перезаряжали револьверы и палили опять. Дым. Всюду дым. Все дым. ...Дым... Едкий... Ожого...

– Еще заряды! Почему они живы?!  
– Чертовщина! Еще! Еще давай! В эту!  
Татьяна сидела на корточках рядом с Ольгой. Около стены.

Она плакала и кричала. Одна из пущенных латышами пуль попала в Татьяну, ей прямо в грудь.

И – не свалила ее. Отскочила и полетела. И ударилась о стену, и отскочила снова.

– Цум тойфель, – белым ртом вылепил Юровский.

Запах пороха разъедал ноздри. В дыму ошалело качалась под потолком еле видная электрическая лампочка.

Мать умерла. Отец умер.  
Сын здесь. Он еще не умер. Не убит.  
Он ранен. Тянет руку.  
Рукой – от пуль – защищается.  
«Зачем он все еще жив?!»

Лямин с ужасом понял: патроны в его обойме закончились.

«Перезарядить? Не буду. Гори все синим пламенем!»

Никулин стоял около мальчика. Мальчик поворачивал голову. Лежал на спине и вертел головой. И стонал. И кусал губы. И опять что-то говорил.

«Что он говорит? Боже!»  
Лямин звал Бога к себе, не думая и не понимая, кого зовет.

А когда понял – содрогнулся.

*...Плюгавый Латыш стрелял хорошо. Но дым, этот чертов дым, он заслонял все. Он*

*заползал под веки, разъедал ноздри, заволакивал весь бочонок подвальной лютой комнаты белым, сизым толем, заливал молоком. Латыш облизнулся: «Молочка бы тепленькая. Какого молочка?! – оборвал он себя, работай, работай, стреляй!» Он работал не на дрянную русскую революцию – работал на себя: он слишком ненавидел эту чужую, огромную, мощную землю, под боком у которой, под громадным ее, богатым и теплым брюхом, притулилась его крохотная жалкая Курляндия. И он должен был однажды обнаружить, обнаружить эту тяжелую, чугунную ненависть, скинуть ее с плеч, а заодно и подработать, заработать чужих денег, подоить немного эту чужую кошмарную революцию, как чужую, на поле забредшую корову. Подоить, а потом зарезать, разделать и суп сварить. Суп – не получится! Жаль! Слишком велика Россия для тебя, плюгавый. Значит, сцеди зубы. Просто уничтожай. Убивай. Работай! Пали! Там, где пули не достанут, – работай штыком, прикладом! Революция – грязное дело; это война, война всегда грязна, как ее ни обеляй, как ни кричи про ее героев. Нет никаких героев. Есть деньги. Есть чужая ненавистная земля. Есть работа: нынче, сейчас расстрелять эту гадость. Эту царскую мразь.*

*Латыш услышал за собой крик и, продолжая стрелять, покосился. Кричал Ермаков. В дыму и чужих бешеных криках, в плаче и воплях казнимых он не понимал и половины русских, чужих, тошнотворных слов.*

Никулин стоял над Алексеем. По лицу Никулина гулял ужас.

Наследник все еще жив. Непонятно. Отвратительно. Кровь все еще бродит по его худому телу; и у Никулина сама, сама стреляет рука.

А эта, тонкая рука подростка снова защищает лицо, глаза, лоб. Душу.

Душа. Вот оно. Душа! Может, такая живучая именно душа?

И, может, есть и бог, и все его святые, и они над ними всеми смеялись, а они – вот они, тут?

Никулин бесполезно палил в мальчика.

Царица и царь лежали в лужах крови.

Девочки в крови – сидели, ползли.

Демидова орала.

Латыш прицелился в нее. Выругался.

Лицо Никулина обратилось в железный крест: брови – перекладина, нос – столб.

Юровский шагнул к нему в дыму и глухо, невнятно бросил:

– Отойди. Мясник.

Фигура Юровского высывалась, торчала из дыма черным огородным пугалом.

Лицо дымом заволокло. Над фуражкой дым вилял. Везде, всюду, и сверху и снизу – дым.

И сам Юровский соткан из дыма; все сон, и сейчас развеется.

Окна! Окна откройте!

Юровский сделал еще шаг и оказался над лицом лежащего мальчика.

Поднял руку с кольтом и выпустил две пули ему в ухо.

Из угла рта цесаревича поползла струя крови. Кровь потекла и из уха по щеке, затекла за шею, разливалась алым озером. Вокруг затылка, вокруг головы всей.

«Красный нимб. Нимб – красный!»

Мальчик лежал навзничь. Голова в красном круге.

Не двигался. И больше ничего не говорил.

Лямин напрасно искал глазами глаза Марии.

И ее самое не видал в дыму.

...Вот она! На корточках сидит; около стены; и Настя с ней.

Головы – руками закрыли.

Нюта Демидова визгнула в последний раз и повалилась перед княжнами, все так же крепко прижимая к груди подушку, живую, последнюю, теплую, милую.

Валялась на полу и дергалась. Жила.

К цесаревнам подскочили Кудрин, Медведев и Люкин.

На искаженном, исковерканном отчаяньем, дымом и истерикой лице Сашки Люкина читалось еще и ужасающее любопытство: а почему эти чертovy девчонки так долго не гибнут?

– Жалезные, што ли!

Кудрин и Медведев падали в княжон. Люкин вздернул руку и выстрелил тоже. Рука сама повелась вбок и вверх, и он попал в подоконник.

– Мазила! – яростно крикнул, обернувшись, Медведев.

Вбежал Кабанов и заорал, приседая, перекрывая грохот выстрелов:

– Прекратить стрелять! Живых – заколоть штыками!

«Почему Кабанов орет приказ? Почему не Юровский?»

«А какая разница! Все равно!»

Демидова и лежа на полу закрыла лицо подушкой. Подушка медленно сползала с лица, и обнажался рот Демидовой, застывающий в вечном, невыносимом вопле.

– Доколи! – как зверь, крикнул Ермаков, оборачиваясь к Лямину.

Мишка поднял винтовку и занес штык над девицей Демидовой.

...Ему казалось – он размахнулся хорошо. И рука у него вроде сильная.

И винтовка у него американская, винчестер. Все вроде путем.

Штык, это же огромный нож. Острие вошло в плоть. Плоть подалась и хрустнула.

Брызнула кровь.

...Еще нажать, еще, еще.

«Где я? Кто я? Что я делаю? И я ли это?»

Тупой штык трудно входил в тело, ломал грудные кости, пробирался к легким.

Демидова вцепилась обеими руками в штык, пытаясь выдернуть его из груди.

Ее визг пробил потолок, достиг крыши и вышел наружу.

«Стекла треснут от такого вопля. Я не могу ее заколоть!»

...Подбежали стрелки. Кто? Он не видел, не понимал. Заблестели штыки. Визг достиг предела и оборвался.

...Кудрин, Латыш, Кабанов и Никулин добились девицу Демидову прикладами.

Били по голове. Лицо в лепешку расквасили. Череп треснул, глаз вытек.

...Поднял голову. Будто голову его отрубили, и она лежала отдельно на полу, и каталась в чужой крови. Потом ее подняли и представи-



ли к туловищу, но ничего не соотнобщает она, ибо, как круглый каравай, адский хлеб, кровью пропиталась.

Вот, сидит голова его на плечах его; и смотрит он глазами; но это не его голова, и не его глаза, и – не его жизнь.

Не его голова повернулась. Не его лицо металось, летало. Не его глаза искали, чтобы крикнуть, обнять и поцеловать.

...И ни разу, не одной мысли в чужой голове – о Пашке.

О женщине этой, что делила с ним войну, постель и смерть.

Мария! Где ты! В этом дыму! Мария!

...Ермакову казалось – это он, он один убил царя. А когда ему это показалось – громадная гордость стала его распирает изнутри, и он, дыша дымом и шурясь в дыму, вдруг сам себя увидал в дымном кривом, чудовищном зеркале: он такой большой, больше этой подвальной каморки с полосатыми обоями, больше Ипатьевского дома, и пробивает головой крышу, и ощущает: он, он – царь! Всей этой черной ночной земли, всех орущих и быстро бегущих людей! Всех железных машин, издающих лязг железных костей! Он и правда царь, ведь он царя убил, – и пусть попробует кто-нибудь оспорить у него эту честь; он его убил, он, а не Лямин, не Юровский, не Никулин, не Кудрин! Не Латыш! Не Кабанов! Никто из них! И никогда! А только он, он один, он – царя – прикончил!

Да еще многих, многих тут, в этом чаду и дыму: тела мелькали перед ним, и он бил и стрелял, и бил все крепче, насмерть, и стрелял все точнее, все жесточе, а перед ним мотались охвостья белых, измазанных кровью исподних рубах, и хвойно-зеленое сукуно гимнастерок, и черные магазины маузеров и черные стволы наганов, и штыки, похоже на воздетые в снежных дымах морды остроносых стерлядей, а какая разница, на рыбалке они, на охоте, на бойне, в лесу, в зверинце? Вот она, жизнь! А вот смерть! А вот он, их всеобщий красный царь Ермаков!

...И вдруг стал опять маленьким, и сжимался в комок все сильней, все быстрее, стал

величиной с булавочную головку, и испугался, что вот сейчас кто-то на него невзначай наступит сапогом – и раздавит, и хрустнет он, хрупнет кристаллом поваренной соли, утопчут его в грязь, и – все, как и не было его.

...И только лицо, странное женское лицо, жесткое, жестче железа, с крепкими злыми скулами, с ледяными глазами, мелькало в дыму и опять пряталось в нем, и насилу он вспомнил, что эту девку зовут Пашка, и что она солдат, и тоже, со всеми вместе, сторожила тут царей; но ведь она отказалась стрелять, так почему же она тут?

...Они подходили к мертвому царю и стреляли в него.

Разряжали в царя револьверы.

Дым бесился и плясал. Вместо потолка над головами летели тучи. Юровский подскочил к дверям и раскрыл их шире, еще шире.

...Мария!

Мишка вопил это надсадно внутри себя, а из его горла выходил рык, собачий, волчий.

Две девчонки в углу у стены.

Они еще сидят. Нет. Одна лежит, свернувшись клубком; так спит котенок на чьих-то коленях.

Лежит и вздрагивает, и стонет.

Другая?

– Мария, – его собственный хрип ожег ему щеки и губы.

Перешагивая через тела, вляпывая сапоги в кровь, он подошел к младшим княжнам.

Пальцы Анастасии вздрагивали.

Мария сидела. Все еще сидела у стены.

И все еще руки – на голове.

Из-под живой шапки беспомощных рук Мария смотрела на него.

И он слишком близко увидал ее глаза.

...Пашка лежала в кладовой на полу. Под ее животом, под расплющенной тяжестью тела грудью, под раскинутыми ногами в тяжелых грязных сапогах холодели доски, они превращались в лед, в плоскую ледоходную льдину, и Пашка куда-то далеко, в страшное, в неведомое никуда плыла на этой льдине; льдина то кренилась, и тогда Пашка вцепля-



лась ей в края с острыми зазубринами, то опять выпрямлялась, тогда Пашка перевалила дух, вытягивала руки вперед, осязая холодный гладкий крашенный лед, и с трудом соображала – да ведь это она лежит на полу, в кладовой на половицах, но себе не верила, река опять несла ее быстро, вертя льдину на перекатах, на своей широкой, блестящей под солнцем, холодной и мокрой спине, и Пашка не знала, Енисей это или Волга, Нева или Кама, Урал или Исеть, Иртыш или Тобол, – все равно, ей было все равно, она знала: вот сейчас льдина перевернется, и я перевернусь вместе с ней, и я окажусь в воде, и я захлебнусь и пойду ко дну, – и, задыхаясь, спрашивала себя: «Пашка, дура, а может, ты уже тонешь, может, перевернулось уже все давным-давно?»

И мира нет, и ледохода нет, и царей нет, и веры нет; и нет церквей, и нет войны, и нет оружия, – она безоружная лежит на земле, и никто не подойдет к ней, не спасет ее. Она одна, совсем одна. И никого рядом.

Где-то далеко, за стеной, стрельба и крики. Зачем? Надо крепче зажать уши. Тогда выстрелы кажутся щелканьем дятла, а крики – комариным писком. Это просто лето и лес, и огромная вырытая яма. Где их закопают? Мишка сказал – в лесу.

Она крикнула: «Мишка! Мишка!» – и зажала себе рот рукой. И куснула руку.

Он там убивает, а она здесь валяется и себе руки грызет, – разве это хорошо, солдат Бочарова? Мишка, кричала она, катаясь по полу, Мишка, возьми меня с собой туда, ну давай это я, я, давай я всех их застрелю! Я! Я одна!

– Спаси меня.

Это сказала она? Или сказали глаза?

Мишка, не помня себя, поднял наган.

«Я спасу тебя. Я тебя застрелю. И все кончится».

Он зажмурился и стал стрелять.

...Пули погружались в смерть и отскакивали от жизни.

Жизнь оказалась крепче всего.

Она оказалась золотой, алмазной, жемчужной. Серебряной. Медной. Железной.

Жизнь оказалась крепче всего, что имело место на земле под широким и бесполезным небом.

\* \* \*

## ИНТЕРЛЮДИЯ

Кто-то из них, умирая, не понял, что умирает – так быстро он умер. Кто-то умирал долго и страшно, в муках, хватая руками штык, хрипя, крича, истекая кровью. Но удивительно было для всех них – и для тех, кто сразу упал под выстрелами, и для тех, кто визжал и плакал, закрываясь руками от пуль и штыков, что в самый момент смерти что-то важное с ними со всеми произошло. Если бы они могли говорить, все они, каждый из них, они бы это могли рассказать более связными, ясными словами. Но они говорить не могли тогда, не могут и теперь, хотя те, кто молится им как святым, утверждают, что они им помогают в скорбях и избавляют от бед. Я сейчас о другом.

О том, что все они стали подниматься над залитым кровью полом и, невесомые, собираться теснее, сливаться, прижиматься друг к другу телами уже не тяжелыми и плотными, а нежными и странно светящимися. И вот так, поднимаясь и прижимаясь, они образовали в дымном воздухе, еще минуту назад полном гари и криков, странное, шевелящееся, золотистое, источающее свет облако. Я почему так уверенно говорю об этом облаке? Имею ли я на это право?

Да, если так рассуждать, имела ли я право все, что с ними там и тогда случилось, заново здесь и сейчас создать, воссоздать?

Кто-то скажет: нет. А кто-то заплачет и обнимет меня при встрече.

И я обниму и расцелую того человека: мы с ним друг друга пойдем.

...Это светящееся, слегка колышущееся облако зависло в центре подвальной комнаты и потом медленно, будто глядя шупальцами света полосатые, продырявленные пулями стены, двинулось к двери. Солдаты возились с их мертвыми телами, а облако света двигалось, подлетало к двери и вот уже вылетало из нее.

Перед облаком распахнулась непроглядная тьма. Вместо лестницы была тьма. Вместо дома была тьма. Облако попыталось вылететь во двор – вместо двора была тьма. Они все с ужасом стали переглядываться: «Боже, мы ослепли! Где наше зрение! Где Твой свет!» – но светились их руки, светились их проколотые штыками сердца под сломанными ребрами, свет, идущий от них, соединенных, разгорался все ярче, и вот в ответ свету шевелящегося в лютой тьме облака далеко и высоко загорелся другой свет.

Тот, другой свет стал приближаться. А облако стало медленно подниматься. Я говорю это здесь так смело потому, что я не один раз видела это во сне. Это не доказательство. Кто скажет, что сон – это правда? Да кто поручится за то, что все, что рассказано здесь, – правда? Когда я говорю, что народ в революцию был обманут своими вождями, что они пообещали народу землю, а потом отняли ее, – мне говорят: да разве это правда! Когда я шепчу: Цари были светлые и святые, – надо мной смеются: какая же это правда! А когда пытаюсь сказать, что и народ был измучен, и Цари ослабли, запутались, заблудились и наделали, пока правили страной, множество ошибок; и правда забитого и нищего народа – это тоже правда, и правда великих любящих Царских сердец – это тоже правда, – тут я вызываю бурю праведного гнева: да как ты смеешь мыслить и жить за них! Раскладывать все по полочкам! Делать выводы!

Ты просто хитрый сочинитель, вот ты кто! А нам – настоящую правду подавай!

...Правда всегда одна. И правда эта, как бы ни затыкали сейчас уши безбожники, – это правда о сатане и о Боге. Где-то здесь, посреди тесных строчек, в сердцевине быстрых своих каракулей, я пишу слово «бог» с маленькой буквы – и это значит, так говорят и мыслят люди, растоптавшие в те дни Бога и забывшие, и раскопавшие Его; а где-то – старательно и почтительно – с буквы прописной, так, как Он и должен именоваться, во веки веков, аминь. И это значит, что люди, говорящие так, молятся Ему и любят Его.

Россия под крылом Бога у многих вызывала и вызывает ненависть. Русские Цари

и русское самодержавие мешали ходу безбожной истории. Кто и когда вычислил величину ее шагов? Да, красная Советская страна, переняв у царской России все повадки империи, стала сама себя, как барон Мюнхгаузен, вытаскивать из болота смерти за волосы. Да так и не вытащила: гибельное вонючее болото все равно хищно засосало ее. Тьмы тем погибли в гражданскую войну тьмы тем – когда нахлынула черная волна раскулачивания, тьмы тем – в концлагерях и тюрьмах, тьмы и тьмы – во вторую великую войну с немцем. Сколько же людей – целые народы! – положила на алтарь светлого будущего несчастная мать, наша Родина? Все эти тьмы тем умирали для того, чтобы послевоенные дети, наконец, могли ходить в школу спокойно – снаряды над головами не свистят, за решетку отца и мать не сажаят, – но зато, дети, зато быстро забудьте слово «Бог»! Никакого бога нет! Все это бабушкины сказки! Все это бред сумасшедшего!

А это кто такой, дети, на стене, на портрете? Не видите разве? Не понимаете? Или стесняетесь сказать? Это никакой не бог! Правильно! Это же дедушка Ленин!

...Свет сверху падал все стремительнее. И светящееся облако стало все быстрее набирать высоту. В черноте, которую не мог разрезать никакой, самый острый зрачок, два света наконец столкнулись, схлестнулись, – и громадный яркий шар взошел в ночи, как пьяное, невысшимое и радостное солнце, и это ночное крутящееся над мертвыми крышами, над мертвым городом солнце высвечивало все грязные углы души, все обманы и подлоги, все предательства и обиды. Солнце облило нежным золотым светом и простило все убийства; все пытки; все казни и расстрелы; все людские боины, где люди людей топтали конями, давили танками, забрасывали бомбами, летящими из железных брюх гудящих крылатых машин. Распахнулись руки света и обняли бедный, мертвый, без Бога, мир, лежащий под ним. Обняли нежно, прощаясь. Навек? Да разве у света, у Бога есть «сегодня», «завтра», «навек»! У Бога есть только «всегда», и что бы ни делали, что бы ни сотворяли с Богом жестокие, бедные

люди, – Он все равно придет; Он улыбнется; возьмет тебя в объятия света; крепко прижмет к Себе; простит, и полюбит, и возьмет с Собою, и вознесет.

И уже все равно будет, какие там, внизу, черные черви копошатся, кто там, внизу, на мертвой несчастной земле, ругается сквозь гнилые зубы или беспощадно хохочет, насмехаясь над самым святым, что еще есть, что осталось еще в памяти человека. Мир без Бога – подлый и гадкий мир. Но такого мира просто нет. В самой язве боли, в самом ужасном черном военном хмелю и кровавом похмелье человек, опоминаясь от ужаса содеянного, вдруг слышит голос, видит над собой в угарной, табачной и безбожной тьме свет – и падает на колени, и косным языком просит прощенья; сам не знает, у кого просит, тяжело, стыдно ему имя Бога назвать, а – придется, потому что всем нам надо будет умирать, всем придется умирать, только не всех нас, конечно, казнят как наших Царей, расстреляют в подвале, а сколько таких подвалов было до расстрела Царей, и сколько плах было, и сколько виселиц и гекатомб было – после! И Бог это все не остановил? И – не остановит? Так где же тогда Бог? Или Он – слепой и глухой и без сердца?

А лучи света все текут и текут из черного ночного зенита. Из яростной тьмы, такой плотной, хоть ножом режь.

И человек – не зверь. Хотя бывает лютее зверя. Человек всегда жив, он – живой. До человека можно достучаться. Но лишь тогда, когда рядом с ним Бог. И этого всегда, всегда хочет Бог; человек же, безумец, часто отворачивается от Него, смеясь над Ним и презирая Его, и человек платит за это слишком дорогой ценой.

Он даже сам не знает, какой. Не осознает. Заливается, захлебывается реками, морями крови умалишенная земля.

И хочет – еще крови. Хочет – еще революции.

...Вам – еще революции?! Вы – по революции заскучали?!

Вы и правда считаете, что революции движут миром?!

...Светящийся огромный шар плыл, вращаясь и перекачиваясь, над спящим горо-

дом, над нежной летней рекой, над притихшим черным лесом. Кое-где раздавались выстрелы. Где-то истошно кричала женщина: ее насильовали, выворачивали руки. Где-то плакал ребенок: он ночевал на рынке в ящике из-под астраханской воблы, тихо плакал и прижимал к себе рыжую собаку, и целовал ее в холодный нос, они оба с собакой зарывались в опилки вместо одеяла, и им было тепло, они согревались друг другом. Где-то любили люди. Обнимались и целовались. Где-то умирали.

...Они все, став светом, забыли, что умерли в муках. Так женщина, рождая ребенка, терпит скорбь, а когда родит, уже не помнит скорби.

Они, в объятиях света, поднимались над землей все выше и выше, легко и счастливо летели, озирая сразу, вместе, в один миг, прошлое, настоящее и будущее, и им было это странно и тревожно, они видели оттуда, сверху, из живой ночной черноты, далеко внизу свои искалеченные тела, видели не глазами, исчезло зренье, а чем они видели все, они не могли бы сказать. И они горько улыбались над собой, над мертвыми телами своими: вот, оказывается, какво это, умереть – это значит продолжить жить, потому что есть будущая жизнь, потому что есть Бог!

И Бог, как бы это ни хотелось опровергнуть тем, кто не хочет, чтобы так было, кто отрицает Бога, кто смеется над верой и глумится над ней, – Бог был рядом с ними, Бог был их, и Бог был в них, и они сами, все, до единого, были в Боге и стали Богом.

Простите, люди, что я вот так все это здесь прямо и просто сказала; что назвала все своими именами; если там, за порогом смерти, все будет не так – значит, и жизни этой нет, не должно быть, и наша земная жизнь всего лишь дявольский мираж, морок, и тогда все напрасно, и правда все равно; и все равно, правда и ложь, и все равно, любовь и ненависть, и все равно, стыд и бесстыдство, и все равно, грех и святость, и все равно, грязь и чистота.

Но ведь не все равно!

Нет! Не все равно!

...Они летели, крепко обнявшись с Богом, и Бог нем их, своих любимых, все выше, и выше, и выше.

\* \* \*

Лямин ходил по Дому.

Дом был и мертвым и живым вместе; и Лямин ходил по нему так, как доктор выслушивает опасно больного и боится поставить ему правдивый диагноз, и боится обидеть, и боится убить словом.

Лямин ходил по комнатам, поднимался и спускался по лестницам. Он ходил один. В доме еще была Пашка, она, как обычно, стояла на кухне у плиты.

Охрану постепенно распускали, но не на волю отпускали: оформляли стрелков на фронты.

Лямина ждал, скорей всего, ему уж Авдеев намекал, фронт на Урале – красные войска бились на Урале с белыми, и ему уже сказали, что определяют его в сводный Уральский отряд какого-то комиссара Блюхера, под Богоявленск.

Это означало – он из Екатеринбурга должен двинуться на юг; там, по слухам, шли жестокие бои, но шанс был, что красные возьмут перевес.

«Нас – больше. Красных – больше! Под красное знамя вся страна встает! А эти... недобитки...»

Дом глядел бельмами белых окон. Известку со стекол никто не успел отмыть. Всюду валялся мусор, и усеянный мусором Дом походил на громадную свалку.

Лямин открывал дверь царской спальни. Перешагивал через зубные щетки, еще испачканные в засохлом зубном порошке, и резные изящные гребенки. Переступал через булавки и заколки, через невиданные скребицы с жесткой торчащей щетиной – то ли платяные, то ли для обуви, а может, волосы дамам чесать, – через пустые флакончики; поднимал флаконы с полу, отворачивал пробки и вдыхал запах – нежный, то сирени, то ландыша, то роз. Сапоги хрустко, жестоко наступали на разбросанные фотографии, на деревянные позолоченные рамки.

Подходил к гардеробу. Распахивал двери. Руки любопытствовали, а глаза стыдились и прятались. Но он вскидывал веки, и прямо перед ним на длинных брусках качались пустые вешалки, и он видел, как они превращаются в живые плечи, и плечи одеваются в шинель и кутаются в шубку, как руки влезают в рукава, а ноги торчат из-под обшитых кружевном юбок. Он громко хлопал дверью гардероба и отшагивал от него, и деревянный ящик, как пустой гроб, отзывался смертным эхом.

Отпахивал и дверцы печей. К печам за все это время он успел привыкнуть – ведь сам частенько их топил. Он думал, печи глянут на него пустыми зевами, а он открывал дверцы – и на него вываливались кучи золы: здесь сожгли горы тряпок, утвари, безделушек и, может, писем и книг. И, конечно, нот – все девушки были превосходные музыкантши, он помнил, как Ольга играла и пела, как Татьяна легко и любовно перебирала клавиши.

...На этом рояле бойцы пили водку, в него сыпали пепел от папирос.

Всякой вещи свое время и свое место под солнцем.

Лямин приседал перед печью, трогал золу. Она была еще теплая.

«Я тут ничего не жег. Я ничего не трогал тут! Все сожгла охрана, пока мы ездили их хоронить».

Дверцы скрипели, будто пели. Он шел дальше. Не мог остановиться. Ноги сами его несли. Вот она столовая. Сколько раз они ели тут; и сколько раз у царей из-под носа выхватывали недоеденное блюдо, смеялись над ними, тыкали им в нос огрызком ржаного: жри! жри! Кровушку попили, теперь хлебушком закусите!

В камине тоже возвышались горы золы. Здесь тоже много чего пожгли. Возле камин стояло кресло-каталка. В этом кресле выкатывали цесаревича гулять; в нем иногда сидела царица, ее подкатывали к бельмастому окну, подавали ей книгу, и она читала. С мокрым полотенцем на больной голове. С больными ногами, даже летом укутанными в шерстяные носки.

Лямин шел, и тоска затхлой грязной водой наполняла его легкие, и трудно было дышать.

Он хотел туда, дальше, в комнату, где спали царские дочери.

Он открывал дверь, и ему в лицо была сухая жесткая пустота. Пустота томила и поражала. Голые стены хохотали над ним. Ему хотелось закрыться от пустоты, как от солнца или пули, рукой. Железная круглая коробка из-под конфет; на коробке написано крупными буквами: «МОНПАНСЪЕ ТОВАРИЩЕСТВО АБРИКОСОВЪ И СЫНОВЬЯ».

Вкус лимонных леденцов он остро почувствовал под языком и на губах.

...Вкус **ее** губ, так и не распробованных.

Под кроватью стояло судно цесаревича. Лямин не понимал, как тяжело он болен, и что это за болезнь такая. Ему Пашка сказала – это когда человека ранят, а кровь льется и не остановится. А если ушибется – кровь льется внутрь, и ты можешь умереть от того, что твои потроха кровью зальет, как река берега заливаает в разлив. Судно! Они все подтыкали эту посудину под мальчишку. И отец, и мать, и сестры, и доктор. И эта, сенная их девка, как ее, Нюта. Почему здесь так мрачно?

Он огляделся и понял, почему. Окно было занавешено клетчатым шерстяным пледом. Он не знал, что это плед, думал – одеяло. Подошел к окну, заморское одеяло сорвал. Кинул на голый матрац.

«А где же их походные кровати? Ведь на них они спали? На такой – она спала?»

Тревога выкрутила нутро. Он выбежал из спальни княжон. Пошел по коридору, твердо, зло распахивая двери – одну, другую, третью. Дошел до комнат, где спала охрана, и до караульной. Толкнул дверь караульной ногой; там стояли эти кровати, длинные, на низких ножках, – настоящие солдатские.

«Да ведь Пашка говорила – их и воспитывали как солдат. Утром царь заставлял их ложиться в холодные ванны, а после растирать жесткими полотенцами, а после делать по пятьдесят приседаний. И они все это проделывали».

Он представил себе Марию – в лифчике и панталонах, с синей пупырчатой, гусиной кожей после ледяной ванны, приседающую перед распахнутым настезь, даже зимой, окном и терпеливо считающую: «...тринад-

цать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать...»

«Ей здесь рождение отмечали. Девятнадцать».

И вспомнил, как добыл ей на день рождения пирог; вкуснейший пирог, с малиновой ягодой, обмазанный яичным белком, облазил все кондитерские – и нашел, и купил на последние деньги, и наврал: мне самолучший, невесте на именины несущий, и ему кричали в спину: товарищ, еще теплый! ваша невеста будет довольнешенька! – и он бежал, тащил пирог через весь Екатеринбург, тяжело дыша, хватая воздух небритыми губами, представляя, как она удивится и обрадуется; и она и правда удивилась и обрадовалась, а потом пришли солдаты и Никулин и отняли пирог, Пашка наябедничала, и Мария глядела на него глазами, в которых собралось все смущенье и вся радость погибшего мира.

Где же вся их радость? Там, в лесу.

Где же вся их жизнь? Там, в глубокой шахте.

Не ври себе. В лесу, под землей их смерть; а их жизнь все равно раскатилась, рассеялась всюду; вот облако в небе, оно так похоже на ее кружевное летнее платье.

Он согнулся и плотно уложил лицо в ладони, будто себя уложил в гроб и прикрыл крышкой.

И так долго стоял.

...И по всем комнатам валялись иконы. Множество икон.

Иконы, их красные ненавидели и презирали. Хотя иные солдаты тайком крестились на образа, а на груди носили кресты на гнилых старых гайтанах. Царские иконы валялись под его ногами, хуже шелухи от семечек; их можно было пнуть, раздавить сапогом, плюнуть на них, пустить на растопку – они бы не сопротивлялись. А как крестилась на них царица! Благоговейно, блаженно. Он никогда не видал, чтобы люди так крестились на иконы, как она.

«Умоленная была. Ей бы – в монастырь... игуменьей...»

Отчего-то подумал: и царю пребыть бы патриархом, а не царем.

Иконы валялись и в отхожем месте за Домом. И у дома Попова, где ночевала охрана;

и Лямин знал об этом. Он это видел. Но сейчас он шел по Дому, и он разговаривал с Домом, как с больным другом, и он жаловался Дому на то, что произошло.

«Ты понимаешь, мы их убили. А они – в тебе – жили. Жили! И всюду висели иконы. И они на них молились. И – не вымолили жизни себе».

Он трогал корешки их книг. Пухлая Библия, обтянутая темной кожей, из нее торчали длинные, обшитые атласом закладки. Атлас выцвел и продырявился.

Молитвослов. Акафист святой преподобной Ксении Блаженной Петербургской.

Акафист Божией Матери. Житие святого Серафима Саровского. «О терпении скорбей».

Четы-Минеи – да, это они читали каждодневно, поминая житие каждого святого, что родился в этот день.

А это что за книги? Лямин наклонялся, шепотом, по слогам читал имена и заглавия.

«Лев Тол-стой. «Вой-на и мир». Антон Чехов. «Рас-сказы». Сал-ты-ков... ков... Щед-рин. Авер-чен-ко... Миха-ил Лер-мон-тов...»

Тезка, улыбнулся он Михаилу Лермонтову, и ласково погладил книгу.

Поднял с полу еще одну. На обложке стояло: «АЛЕКСАНДРЪ ПУШКИНЪ. СОЧИНЕНИЯ». Развернул. Зрчками выловил сразу и обжигающе:

*...если жизнь тебя обманет –  
Не печалься, не сердись;  
В день уныния смиришь,  
День веселья, верь, настанет.*

*Сердце в будущем живет,  
Настоящее уныло;  
Все мгновенно, все пройдет;  
Что пройдет, то будет мило.*

На голой кровати лежала тщательно ошпательная широкая доска. На этой доске ел, пил, играл и читал цесаревич, лежа в постели. Остро и влекуще пахло, но не духами, а чем-то пряным и терпким. Лямин догадался: лекарствами. И верно, по подоконникам, на полках, на тумбочках в изобилии виднелись пузырьки и флакончики, пробирки и чашеч-

ки, бутылки и мензурки; в них прозрачно застыли лекарственные пьянящие смеси, которые лишь сутки, двое назад принимали внутрь эти люди.

Лямин шагнул к подоконнику и взял в руки странную бутылочку в форме гитары. На бутылочке была приклеена этикетка. Он прочитал: «СВЯТАЯ ВОДА». Беззастенчиво и бессознательно отвинтил пробку. Что надо сделать? Глотнуть? Помазать виски, грудь? Вылить себе на затылок?

Хотелось пить. Он, морщась, глотнул. Поднес к губам брезгливо, а глотал чисто, радостно, вкусно. Вода и впрямь оказалась вкуснейшей – холодной в жару, чистой и свежей.

«Будто серебра живого глотнул. И правда, святая».

Думал так, нимало не веря в это.

Вышел в прихожую. Там на лавке стояла приоткрытая коробочка. Из коробочки торчала шерсть. Он подумал: овечья, – и поднял крышку, а под крышкой оказались человечесьи волосы, и он отпрянул. И снова набросил крышку на коробку, и отошел, и выругался шепотом.

Это были остриженные волосы девушек; их остригли, когда они хворали корью, еще давно, там, в своих дворцах. А коробку эту, с волосами княжон, они зачем-то с собой возили, вместо того чтобы выкинуть на помойку.

Лямин потопал сапогами, стряхивая с них налипшую грязь. Повернулся и пошел опять в столовую.

Что-то его беспокоило в столовой, а он не знал, что. Вошел. За стеклами шкапа выселись сервизные тарелки. Половину из них уже растащили. На полу валялись сухие полевые цветы: гвоздики, ромашки, мышиный горошек, донник.

«Донник любят пчелы. Кто сюда цветы приволок? Да и бросил».

Вроде как в память... На полу лежат...

Повел глазами. Один из стульев был обтянут чехлом.

И на белом чехле – прямо посередине – на спинке стула – отпечаток: красная ладонь, и потеки засохшей крови.



«Руку отбери... После того, как трупы выносили...»

Его прошибла дикая мысль: может быть, это отпечаток его собственной руки.

\* \* \*

Михаил спал некрепко, и вдруг проснулся, как не спал.

Ему почудилось – он висит в воздухе над койкой.

Он был, странно, один. Вся охрана делась куда-то. Чуть позвякивали железные пружины под его телом. Он завозился – пружины зазвенели громче; затих – пружины продолжали звенеть.

– Что за черт, – сказал Лямин в полный голос и спустил с койки ноги.

Пружины звенели весело и беспорядочно, сами по себе.

Встал. Оглядел колени, расправляя штаны. Спал одетый. Раздеваться не было сил.

Вытер пот с шеи, со щек. Дверь слегка отворилась.

– Ага, вот кто-то из наших возвращается».

Дверь дернулась и опять закрылась. Лямин остановившимися глазами смотрел на нее. Открылась опять, пошире. В черную щель втиснулись плечо, рука, пять пальцев высовывались из обшлага пиджака и радостно, насмешливо пошевеливались. Кто-то невидимый за дверью пальцами перебирал: то ли дразнился, то ли зазывал.

– Уйди, – сказал Лямин потерянно, потрясенно, а голоса не было.

Вслед за плечом и рукой в дверь протиснулась нога в начищенном башмаке. Потом к ней приставилась другая. Дверь открывалась все шире, и в комнату влезла грудь, обтянутая жилеткой, и другая рука, и спина, и весь пиджак. А голова? Голова где?

– Где голова?! – крикнул Мишка, и ему казалось – он слышит свой крик.

И, как только он крикнул это, – явилась голова.

Мощная лысина. Белый кегельный шар. В усадьбе у помещика Ушкова, когда их, детей, водили к помещику на рождественскую елку, он однажды видел такой круглый, гладкий

шар на вертящейся ножке; и сказали тогда, что это барский глобус.

На белом глобусе лысой головы призрачно плыли рисунки морей и океанов. Проплывали и умирали земли, города, острова. Вспыхивали красные пустыни и гасли кровавые ледники. Голова глубже протиснулась в щель, плечо нажало сильнее, дверь тоненько, жалобно застонала и распахнулась вся. Вслед за лысой страшной, громадной, как земля, головой человек из двери вышел весь. Он был маленького, даже слишком маленького роста. На собачку похож. Или на маленькую обезьянку.

«Карлик... Откуда он тут? Может, из цирка? Может, я сплю?»

Лямин крепко ущипнул себя, крутанул пальцами кожу на запястье. Охнул. Под кожей расплывалась кровь.

«Эка я. Как гусь клювом, чуть мясо из себя не выщипнул».

Лысый карлик нагнул голову, рассматривая Лямина исподлобья. Мотнул головой туда, сюда. Из окна сочился голубой лунный свет. Лысина человечка блестела точеной слоновой костью. Он раскинул ручки и растопырил пальцы, словно приглашая Мишку то ли к беседе, то ли к призрачному застолью. То ли молча говорил: ну вот и все, дорогой товарищ, и нечего мне вам больше сказать, вы сами с усами, и все уже совершилось.

– Где я видел тебя, – пробормотал Лямин.

Пот стекал у него с надбровных дуг под брови, на веки.

Лысый карлик шагнул к нему, еще шагнул, и Лямин попятился.

– Ну, ну, товайищ. Что вы так напугались? Я не кусаюсь.

Лямин замер.

Человечек радушно, склонив лысую башку к плечу, поглядел на него. Коротко рассмеялся, потер коротенькие ручки.

– И сесть не пыгласите? Тогда я сам сяду. Не тьевожьтесь! Вы в полнейшей безопасности. Пока, ха-ха, вас не клюнул жайеный петух! Сами знаете куда! Ха! Ха!

Лямин обеими руками отер мокрое лицо. Человечек уселся на стул, положил ногу на ногу. Один башмак чистый, надраенный до

зеркального блеска; другой – грязный, и грязь налипла комками, красная, рыжая, могильная глина.

Он нагнул голову. Лысина блеснула в лунном свете. Лысина сама взошла, как Луна – только не на небесах, а в комнате, напротив потерявшего дар речи Лямина.

– Что же вы молчите? Меня – узнали? Вижу, вижу, что узнали! Да кто тепей меня не знает! Меня, батенька, знает тепей весь мий! Вы смотрите на меня и думаете: это пьизьяк! Не-е-е-ет, батенька, уж увольте! Какой я пьизьяк! Я самый настоящий, и пьавдивее меня нет никого на свете! И, знаете что, по секьету скажу, – и не будет!

Лямин протянул руку. Он хотел дотянуться до керосиновой лампы на столе и разжечь ее. Он еще не успел прикоснуться к ней – она дернулась, как живая, отскочила от него по столу, подъехала к краю и упала, и разбилась с легким жалобным дребезгом.

Он смотрел на тонкие осколки на полу, и дрожал, и шептал себе: не дрожи, уймись, утихни, все сон и бред.

Лысый карлик обцепил ручонками свое выставленное вверх колено. Покачивался на стуле. Рассматривал Лямина, как жука в гимназической коллекции.

– Вот вы, товайиш, на меня так смотрите, будто бы я у вас – куйицу укьял. Или вас в кайты обыгьял. А я вам, между пьочим, стьяну – подайи! Целую огьомную стьяну! С йеками, моями, океанами, гоами, дойгоами и полями, дейевнями и гойодами! С людьми, между пьочим! Люди, батенька, ведь это тоже матейял! Да еще какой! А вы и не догадывались?! Ого-го, какой матейял, люди! Самый наипейвейший!

Лямин раскрыл рот, и наконец голос излетел из него.

– И я, по-вашему, матерьял?

– И вы, батенька! И вы! Еще какой! Вы – кийпич в такой фундамент, на каком мы постьоиим такое здание... Никому в мийе не снилось! И, надо сказать, такие кийпичи скьепляются только – знаете, чем? Ну? Чем?

Лямин почернел лицом.

– Вейно! Кьовью! Только кьовью, и больше ничем!

– Неужели без крови нельзя? – еле выговорил Лямин. Щеки его пошли рябью, как река под ветром; он скрипел зубами.

Лысый карлик радостно всплеснул ручонками.

– Нет! Нет и нет! Стьоиительство будущего тьбует только кьови! Вот пьедставьте себе. Цай Петый Пейвый задумывает возвести на болотах – новую столицу. Нагоняет со всеи Йоссии в чухонские болота мужиков. Бьет их батогами. Коймит чейт-те чем. Они мьют как мухи! А гойод, гойод – встает из болот! Йождается! Петьогьяд стоит, товайиш, на кьови и только на кьови! Но если бы этой кьови не было – был бы Петьогьяд?! А?! Была бы слава Йоссии?! А?! Не слышу!

Карлик прижал к уху ладонь, сложив ее раструбом.

– Нет, – ледяными губами вылепил Михаил.

– Именно так! Вот и делайте выводы!

Михаил видел – на лысине явственней стали проступать очертания материков. Суша вздувалась, моря опадали, утекали в черные ямы. Плиты континентов смещались, ползли, наползали друг на друга. Гибли земли и горы в невиданных катастрофах. Лямину казалось – он слышит крики людей; кричали гигантские толпы, плотные массы, кричали хуже животных, загоняемых в капкан бойни.

– Мы – кровь...

– Да! Точно! Вы – кьовь! И больше ничего! Кьясная, теплая кьовь! Матейял, из котойого лепится жизнь!

– И вы считаете... – Это было чудовишно, но они беседовали. Как два простых, живых русских человека за ночным чаем, за рассеянным пасьянсом. – Что пролитая кровь – это всегда добро? Не зло?

Лысый закинул белую голую голову и захохотал.

Он хохотал тихо и вкрадчиво, топорща усы – так мог бы хохотать толстоголовый, бархатный кот-британец.

– Исключительно так! Одно с дьюгим всегда очень, очень тесно связано. Невозможно йазлепить два явления, если одно вытекает из дьюгого! Пьичинно-следственные связи? Так вот же они! Вы нас югаете за кьясный

тейей, за штабеля йасстьянных – а мы вам – электификацию всей стьяны! лампочку в каждую избу! плотины чейез Днепый, Волгу, Обь, Енисей! чейез Амуы! чейез Яну, Индигийку и Колыму! и туйбины кьютятся, и светом залита глухая медвежья тайга! а потом! вы даже не знаете, что будет потом!

– Что?

Губы Лямина белели, а глаза проваливались в слепую черноту.

– Пейелет на аэоплане чейез Северный полюс! оюжие, какого не было еще ни у кого и нигде! пулемет, что можно будет с собой носить в каймане – и стьялять из него без пейеыва! Вы нам – о пьолитой кьови, а мы вам – вспаханные и засеянные хлебом, пшеницей и йожью, безоглядные, безгьяничные степи! освоенную тундью! облет на самолете новейшей констыюкции вюкьюг Земли! И – поднимемся над Землей, и воплотим в жизнь сумасшедшие идеи этого глухого самоучки, этого ююдового поляка... как его бишь... Циолковского... и постьюим йакету... и – взлетим! К звездам! К звездам, вы-то ведь не глухой, вы-то – слышите!

Да, Лямин все слышал. До слова.

И моталась, моталась перед ним эта белая ледяная голая башка, и ходили по ней живые, умопомрачительные, гигантские тени.

– И – поголовная, заметьте, поголовная гьямотность!

Карлик орал весело и оглушительно, и Лямину хотелось заткнуть уши.

Но руки налились свинцом и висели вдоль тела.

И тут лысый карлик сделал незаметный шаг и подскочил к нему. Лямин не успел отшатнуться. Лысый схватил его за руку, вцепился крепко, как клещ. Кожа на всем теле Лямина собралась в крупные складки лютого отвращения. Он задрожал и хотел выдернуть руку, но лысый оказался много сильнее; он подтащил Лямина к лунному окну и свободной рукой, маленькими пальчиками постучал по стеклу, приглашая взглянуть, что же там, снаружи, где Луна и звезды.

– Смотрите, товайищ! Я покажу вам, как мы все – пьеобьязимся!

Карлик выкинул вперед руку и стал вроде бы выше ростом. И стал расти. Он стал расти и увеличиваться, и крупнеть, и ширеть, и грозно наливаясь сначала медью, потом чугуном, потом бронзой, и бронзовели черты его лица, бронзовой, твердой и блестящей становилась борода, бронзовели усы и уши, и громадная лысина бронзово сверкала, – а губы его разлеплялись все так же живо и весело, и все так же слышал Лямин эту быструю картавую речь, энергичную, смелую, страстную, смеющуюся:

– Смотрите! Пока у вас есть глаза и йазум! Смотрите, ужасайтесь, изумляйтесь! Востойгайтесь! Я-то, я знаю все! Так пьеобьязится наша стьяна! Она станет по-настоящему великой. Все, что было, – йазбег! Но все великое стоит, повтою еще и еще йаз, на кьови. Да, нас обвинят в том, что мы утопили стьяну в кьови! Нас обвинят в том, что мы по всей стьяне настьюим тьюем и лагейей. И сгноим там, убьем там тысячи, мильены, десятки мильенов людей! Но если мы не сделаем этого – нас йаздавят, как блох. Нас пейестьяеляют, как куйопаток! От нас не оставят и мокього места! А мы окьепнем. Мы станем сильными. Сильнее всех в мийе. И мы – выигьяем втоую великую войну! Пейвая мийовая война была стьяшной, да. Но втоая, товайищ, будет еще стьяшнее! Готовьтесь! Я-то знаю. Весь мий ополчится на нас! Нам будут кьичать в уши, тьюбить по всему свету: у вас в Йюсси – власть кьясных олигайхов! Но зато у нас, единственных на всей Земле, будет бесплатное обьязование и бесплатная медицина! А? Каково?!

Он все крепче вцеплялся в руку Лямина.

«Отсохнет рука... Отвалится...»

Лямин глядел в окно, кивал, глаза его расширялись. За окном перед ним проплывало время. Оно принимало очертания людей, зверей, машин, башен, танков, плотин, самолетов, ракет. Оно несло мимо, не оставивалось. И отражалось в лысине карлика, как в выпуклом, кривом зеркале.

«На мне – крест... А он мне в правую руку впился... не перекреститься...»

– Да воскреснет Бог и расточится врази... Его...

Лямин поднял левую руку и дико, смешно перекрестился ею.

Лысый человек выпустил его руку. Пальцы растопырились, жадно щупали воздух. Наткнулись на подоконник.

...он стоял у подоконника один, совсем один, и тупо, слепо смотрел на фонарь, си-нею лысой Луной горящий перед Ипатьевским домом.

## ПОСЛАУДИЯ. МОЛИТВА

Я подхожу к окну. За окном – ночь.

Ночи на земле всегда больше, чем дня, несмотря на то, что солнце может выкатываться на небо надолго, и гореть там, и поселиться, а может, не падая за горизонт, кругами ходить вокруг земного окоема – так на Севере.

За окном ночь, и у нас не Север. Не Заполярье. У нас – Волга. Вот она, подо льдом, за холмами. Сугробы высаятся и играют радугой в скупом фонарном свете. Люди днем месили сапогами грязь – таяло, – а к ночи опять все сковало лютым черным льдом.

В ночи встречаются завтра и вчера. Ночь – наиболее полное сегодня и наиболее полноправная вечность. Звезд нет, я их не вижу: сумрак, сутемь и странный свирепый гул – издали, из-за труб и крыш.

Недавно, еще вчера, у меня дома был в гостях один человек, и я кормила его супом, макаронами и нарезала ему хлеб, и заваривала чай. А он, жуя хлеб и хлебная суп, прихлебывая обжигающий чай, говорил мне такие речи: « Мы когда возьмем власть – церемониться не будем. Отберем все у богатых и поделим! И утопим страну в море крови. Мало никому не покажется! И понастроим лагерей. Я сам их построю. Я сам, самолично, укуе в лагеря тех, кто меня, нас всех – погубил. И еще мы построим заводы и фабрики, и погоним туда всех богатеев, и они на нас – будут работать! Да! И еще как! Да, мы откатимся назад, не спорю. Но лет через пятьдесят мы наберем силу. И вот тогда, тог-

да у нас появятся все чудеса мировой техники! Перед которыми мы сейчас раболепствуем! Но до этих счастливых пор – валяйте, богатеи, трудитесь, вкалывайте! Чтоб вы узнали, что такое труд! Да, кровь! Да, смерть! Они к вам явятся, они придут! А вы, вы все, тошнотворные миролюбцы! Вы все – мешане, обыватели! Гнусь! Вас первых – будут резать и стрелять! Мы все равно сделаем смуту, мы порушим всю вашу сладкую богатую гадость, мы рассадим всех губителей народа, кровососов, жиряг, по нашим новым тюрьмам... и так пройдет много лет, и мы все равно поднимемся, и вырвемся вперед – да, скажете, какой ценой! а кто сказал, что ни за что не надо платить? за первенство ведь надо платить! и мы заплатим! Заплатим! Мы – не поскупимся! Как вы, вы – скупитесь!»

Человек задорно, запальчиво говорил это все и при этом ел мой суп, солил моей солью макароны, размешивал ложкой сахар в чашке чая, и я слушала эти речи, слишком хорошо узнавая их; слушала и не перебивала, ни единого словца поперек не вставила.

Мне просто нечего было ему сказать.

Мне, мешчанке; обывательше; миролюбке; пошлой пацифистке; просто – женщине, что варит суп с куриной ляжкой и жарит на медленном огне макароны с мелко накрошенным репчатым луком.

Мне совсем нечего было ему сказать.

И я вышла в кухню, задернула шторы, перекрестилась и помолилась о том, чтобы Бог изгнал из этого человека бесов. Одного, но самого страшного беса – главного, краснорожего, рогатого и зубастого, жаждущего крови и мести, крови и воздаяния, крови и революции.

И я вспомнила о том, как один человек, за сто лет до моего рожденья, говорил: «Революция – это всегда посягновение на Небеса».

Да именно так: Небеса – с прописной буквы.

Цари. Небеса. Бог. Церковь. Родина. Все с царственной, с прописной буквы.

А поскольку все мы, люди, созданные по образу и подобию Божию, дети Небес, значит, революция – убийство не только Небес, но и земли и самих людей на ней.

Революция – не движение вперед. Не двигается человечество. В огне революций гибнут страны и народы, позорно умирают, а не воскресают, и их бинтуют и перевязывают и трудно, нарочно воскрешают, привинчивают к ним мертвые руки и окровавленные ноги, насаживают на плечи разбитые головы, и они начинают свою жизнь сначала, но это уже не та страна, что была раньше, и не те люди, что в ней жили. Это все уже – другое.

Эй, светлое будущее! Где ты? Отзовись!

Я, крестьянка, из семьи жигулевских крестьян, знаю, что такое холод и голод, когда убивают и едят кошек и собак и детей; что такое кровавая продрозверстка и черные кожаные жуки-люди с наганами за поясом: «Хлеб давай, иначе всех перестреляем!» Я знаю, что такое раскулачивание, а проще – раскрестьянивание, когда из избы выбрасывали – вперемешку – на голубой, синий снег – тляпки, корыта, самовары, тряпки, платки, детей, пеленки, зыбки, тулупы, сундуки, немощных, уже не ходячих стариков, сдернутых и поднятых со смертного одра, вынутых из успения, и грузили, все так же вперемешку, словно бы бревна или дрова, на подводы, – а хозяин, распатланый, с белым бешеным взглядом, стоял в сугробе, ему вязали руки за спиной, а он орал надсадно и страшно: «Прощайте, милые!» Я знаю, что такое приговоры тройки крестьянам Самарской губернии в годы, когда смерть размалеванной шлюхой гуляла по стране и танцевала, сама с собою, перед толпами изгнивающих во рвах скелетов, адский свой танец. Я знаю, что такое новая с немцем война, когда мои крестьяне уходили на фронт – солдатами, ополченцами, партизанами. Я знаю, как варили лебеду и жевали жмых в послевоенных селах и деревнях, а малые дети радовались, когда на селе похороны, и покойника мимо избы в гробу на телеге везли: значит, поминки будут, и можно будет поесть! Я знаю, как забирали в колхозы всю животину – коней, коров, свиней, гусей, индюшек, – и как расстреливали крестьян за найденный на колхозном поле колосок. Я знаю, как впервые выдавали крестьянам паспорта – ровно через полвека после

Великой, Октябрьской, Социалистической. Я знаю и вижу, как гибнут и зарастают бурьяном колхозные поля; как вороны переступают крестами красных лап на крестьянских пепелищах; как умирает деревня, нищая, сгубленная, замученная, – та деревня, трудами которой мы питались и питаемся, жизнью которой всегда жила русская земля – поверх всех революций и поперек всех войн.

Ну, где же ты, светлое будущее, за которое бились красные? За которое умирали в бою, погибали в застенках, во славу которого трудились и не изнемогали, а потом все-таки – изнемогали, хрипели, стонали и падали прямо к ногам Великого Призрака? Где ты?

...Молчит. Не дает ответа.

...Что ж, тогда и я не дам ему ответа.

И не дам ответа этому человеку, что ест мой обед и говорит мне в лицо о том, как меня первую будут – в революцию – убивать.

Меня уже убивали. И не раз. И распинали. И клали под колеса танка. И привязывали к пароходному колесу. И жгли на костре.

И стреляли в меня, да, стреляли.

Это в меня стреляли тогда, в подвале дома инженера Ипатьева. А я – воскресла. Воскресла, юродивая, и брожу по стране в кружевных, испачканных кровью лохмотьях великих княжон. И пою свои песни. Воскресни, Царь мой, воскресни! И пою во славу тех, кто принял в сердце пулю и лег под штыки – не только во славу Царей, но во славу всех убиенных. Да, всех, вы не ослышались. Всех. Ибо кто споет славу всем без остатка, если не я?

*Царица-Смерть! Ты сторожи нас. Ты наш палач.*

*Со светлым ликом и в горе диком,  
ты в нас, ты с нами,  
твой тонкий плач.*

...Нет, это все не то. Не то! Опять нутье. Опять сантименты. Художники пламенны, равно же как и революционеры. Они не плачут.

Но как быть, если и они в свой смертный час лепечут кривыми устами молитву, если и они боятся, пронзаются великой последней

болью, и любят, быть может, впервые в жизни, и просят прощенья, тоже впервые? Дай-то Бог, если попросят! Дай-то Бог!

Но широкий этот, ах, слишком, необъятно широкий человек, гуляй-поле, метель на полмира, – и ведь его пытались беспощадно сузить и затолкать в ранжиры, в реестры, в расписания, в инструкции, – он-то свою ширь великую, слезы свои, что безбрежнее иной реки разливаются, и ненависть свою, что запросто – дай волю – мир может с ног на голову перевернуть, – этот человек не может, не умеет каяться; покаяния он не хочет, боится, считает его никчемным и бестолковым; да просто смеется над ним. И ему кажется: он покается – и свою ширь, и свою свободу – потеряет!

...А была ли она, свобода?

А была ли девочка?

А был ли мальчик?

А был ли тот, расстрелянный в подвале, мальчик? И те девочки, с пулями меж ребер, с колотыми ранами в груди?

И все мальчики и девочки великой страны, что – на лесоповалах – в каталажках – на табуретах под петлей – в урановых рудниках – за мотками колючей проволоки – в залитых кровью, слезами, блевотиной и мочою трюмах – близ глубоких, в потеках глины и дождей, сырых рвов под прицелами старых

винтовок – стояли, лежали, сидели, жили, умирали?

Может, они нам, нынешним, приснились?

Мир не знал таких потерь. Мир не знал такого великого обмана.

Мы полетели к звездам, но мы так и не расплатились за всех наших убитых мальчиков и девочек.

И – ничем не расплатимся.

Это уже мерным, медленным последним приговором вписано в небесную Библию с желтыми, как человечья кожа, исходящими кровью страницами, огненными навечными письменами.

Вы можете эти письма не читать. Вы можете смеяться над молитвой.

Но, когда вы будете умирать, я, юродивая, убитая и воскресшая, очень вас прошу: когда сердитые, мрачные ангелы с громко шелестящими крыльями будут падать и падать с золотого высокого неба, чтобы подхватить вас на крепкие, мощные руки и забрать вас, куда – это уже не ваше дело, вам этого не дано знать и даже догадаться об этом не дано, вот тогда вы помолитесь, пока еще ваши губы шевелятся и еще шевелится в вас ваше сердце. Помолитесь за душу свою. За всех, кто умер своею и не своею смертью. За всех, кто ушел и уходит и уйдет.

За всех, кто придет.